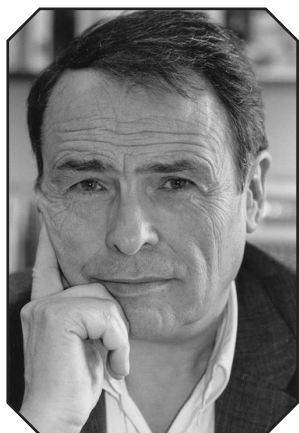


## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

П. Бурдьё

# Номо Academicus<sup>1</sup>



**БУРДЬЁ Пьер** (1930–2002) — выдающийся французский социолог XX столетия.

Перевод с франц.  
С. М. Гавриленко,  
О. М. Журавлёва,  
Д. Ж. Кондова, Е. В. Кочетыговой,  
О. О. Николаевой,  
Н. В. Савельевой.

Научные редакторы перевода — Е. В. Кочетыгова,  
Н. В. Савельева.

*В данной книге классик социологии П. Бурдьё представляет анализ устройства академического мира. В фокусе внимания находится исследование оснований и форм власти в поле гуманитарных факультетов в контексте трансформации высшего образования во Франции (1968 г.). С этой целью Бурдьё обращается к структуре поля власти и к тому отношению, которое с ним поддерживает поле университета в целом; анализирует структуру университетского поля и позицию, занимаемую в нём различными факультетами; наконец, изучает структуру каждого факультета и позицию, занимаемую в нём различными дисциплинами. Анализируются также социальные иерархии и построения карьеры университетскими учёными. Делается это на примере биографий таких учёных как М. Фуко, Ж. Лакан и их менее известных его коллег. В попытках картографирования университетского поля Бурдьё применяет конструктивистский и структуралистский подходы.*

*Журнал «Экономическая социология» публикует первую главу труда П. Бурдьё — «Книга для сожжения?» (Un “livre à brûler”?). В ней автор разъясняет методологические основания своего исследования. Акцентом рассуждений является рефлексия Бурдьё относительно возможностей и ограничений социолога при изучении социального мира, к которому он сам принадлежит. Решение эпистемологических проблем, встречающихся на пути социолога, находится в области его ответственности по конструированию объекта и субъекта.*

**Ключевые слова:** рефлексивная социология; высшее образование; академический мир; академическая культура; социальная иерархия; власть и знание.

## Глава 1

### «Книга для сожжения»?

Историки не хотят, чтобы кто-то создал их собственную историю. Желая исчерпать бесконечность исторических деталей, сами они не намерены становиться частью этой бесконечности. Они не хотят быть частью исторического порядка — как если бы врачи не намеревались болеть и умирать.

*Ш. Пегу. Деньги*

Избрав объектом исследования социальный мир, чьей частью являемся сами, мы вынуждены столкнуться с рядом фундаментальных эпистемоло-

<sup>1</sup> Источник: Бурдьё П. (готовится к изданию) *Nomo Academicus*. М.: НИУ ВШЭ. Перев. с франц. Bourdieu P. 1984. *Nomo Academicus*. Paris: Editions de Minuit.

гических проблем в форме, которую можно назвать *драматизированной*. Эти проблемы связаны с различием между практическим познанием и научным и, в особенности, с трудностью *разрыва* с локальным опытом и сложностью воссоздания знания, полученного ценой этого разрыва. Известно, каким препятствием для научного познания являются избыток близости, а также чрезмерная дистанция и насколько сложно поддерживать то отношение утраченной и восстановленной близости, которое позволяет ценой долгой работы над объектом — но также и над субъектом — исследования объединить всё, что можно знать, будучи лишь частью объекта, и что невозможно или же нет желания знать именно потому, что ею является. В меньшей степени осознаются проблемы, возникающие при попытке передать научное знание об объекте прежде всего при помощи *письма*. Такого рода проблемы становятся особенно заметными, когда за пояснениями обращаются к *примерам*: эта риторическая стратегия, обычно используемая для того, чтобы «внести ясность», склоняет читателя полагаться на собственный опыт и, следовательно, привносить в чтение неконтролируемую информацию. Почти неизбежно она низводит до уровня обыденного знания научные построения, выработанные в борьбе с ним<sup>2</sup>. Достаточно просто ввести имена собственные (а как полностью избежать этого, когда речь идёт о мире, где одной из ставок является «сделать себе имя?»), чтобы усилить склонность читателя сводить к конкретному индивиду, воспринимаемому синкретично, индивида сконструированного, существующего в качестве такового лишь в теоретически выстроенном пространстве отношений тождества и различия между совокупностью его явным образом определённых свойств и специфическими совокупностями свойств (обнаруженных согласно тем же принципам), характеризующих других индивидов.

Но каким бы сильным ни было наше стремление избежать намёков и двусмысленностей, постоянно заправляющих, пускай и в скрытой форме, обыденной логикой сплетни, оскорбления, клеветы, насмешки и злословия (которые, хотя и склонны сегодня рядиться в одежды анализа, не брезгают ни колкостью, ни остротой ради удовольствия блеснуть или пустить кому-то кровь), как бы методически ни воздерживались мы (как в этой работе) от упоминания о вещах, несмотря ни на что известных всем (о явных, не говоря уже о скрытых, связях университетских преподавателей с журналистикой, а также о семейных и иных, обнаружить кои — долг историков), мы всё же не сможем избежать подозрения в том, что совершаем акт *разоблачения*, ответственность за которое в действительности лежит на самом читателе. Ведь именно он, читая между строк, заполняя более или менее сознательно пробелы в анализе или просто, как говорится, «принимая всё на свой счёт», изменяет смысл и значение намеренно цензурированного научного отчёта. Социолог не имеет возможности написать обо всём, что знает (включая то, о чём те из читателей, кто наиболее склонен разоблачать его разоблачения, зачастую знают лучше, правда, на совершенно другом уровне), и поэтому рискует создать видимость, что пользуется наиболее испытанными полемическими стратегиями — инсинуацией, намёком, иносказанием и недомолвкой, то есть приёмами, особенно дорогими университетской риторике. И всё же эта история без имён собственных, которой вынужден ограничиться социолог, соответствует истине не более, чем исторический анекдот о фактах и деяниях отдельных персонажей, знаменитых или неизвестных, к которому так охотно прибегает как старая, так и новая история. Эффекты структурной необходимости поля осуществляются лишь через личные связи, основанные на социально обусловленной случайности встреч и общих знакомств, а также на сходстве габитусов, переживаемом как симпатия и антипатия. И как не сожалеть о *социальной невозможности* объяснить и дать почувствовать то, что я считаю действительной логикой исторического действия и подлинной философией истории, при этом присущие отношению принадлежности преимущества, которые позволили бы объединить собранную с помощью объективных методов информацию и личную интуицию, являющуюся результатом близкого знакомства с объектом исследования?

<sup>2</sup> Я полностью осознал эту проблему, когда несколько моих первых читателей попросили меня «привести примеры», иллюстрирующие тот или иной анализ, из которого я сознательно исключил любую «анекдотическую» информацию — даже наиболее известную в «хорошо осведомлённых кругах», то есть ту самую информацию, которую торопится раскрыть журналистика или ориентированная на сенсацию эссеистика.

Таким образом, социологическое знание всегда подвержено опасности оказаться сведённым «заинтересованным» прочтением к поверхностному восприятию. Подобное прочтение обращает внимание на незначительные подробности, отдельные детали и, не будучи остановлено абстрактным формализмом, сводит к обыденному смыслу слова, общие для научного и обыденного языка. Почти неизбежно предвзятое восприятие, оно ведёт к ложному пониманию, которое основывается на незнании всего того, что определяет научное знание как таковое, то есть самой системы объяснения. Таким образом, предвзятое восприятие разрушает созданный научным конструированием объект, смешивая то, что было разделено, и прежде всего — сконструированного индивидуума (человека или институцию), существующего лишь в разработанной учёным сети отношений, и индивидуума эмпирического, непосредственно доступного обыденному восприятию. Такое истолкование стирает всё, что отделяет научную объективацию как от обыденного знания, так и от знания полунаучного, в основании которого, как показывает большинство исследований, посвящённых интеллектуалам (и, скорее, вводят в заблуждение, чем что-то проясняют), почти всегда лежит то, что можно назвать точкой зрения Терсита, полного зависти персонажа из трагедии Шекспира «Троил и Крессида», поносящего сильных мира сего, или, ближе к историческим реалиям, точкой зрения Марата, о котором забывают, что он был также — или прежде всего — плохим физиком [Gillispie 1980: 290–330]. Частичное понимание, которому способствует вдохновлённая рессентиментом жажда *редуцировать*, приводит к наивно финалистскому взгляду на историю, а он, не будучи способным достичь скрытых оснований практик, довольствуется анекдотическим разоблачением воображаемых виновников и, в конечном счёте, переоценивает значимость предполагаемых участников разоблачаемых «заговоров», рассматривая их как циничных инициаторов поступков, заслуживающих презрения (в первую очередь из-за их высокого положения)<sup>3</sup>.

Кроме того, те, кто располагается на границе между научным и обыденным знанием (эссеисты, журналисты, преподаватели-журналисты и журналисты-преподаватели), жизненно заинтересованы в размывании этой границы и отрицании или упразднении того, что отделяет научный анализ от частичных объективаций путём приписывания отдельным индивидам или лобби эффектов (как это происходило в случае ведущих той или иной литературной передачи на телевидении или связанных с «Le Nouvel Observateur»<sup>4</sup> членов Высшей школы социальных наук), произведённых в действительности всей структурой поля. Им достаточно поддаться чтению из чистого любопытства, заставляющего функционировать примеры и отдельные случаи согласно логике светской сплетни или литературного памфлета, чтобы свести присущий науке систематический и реляционный способ объяснения к самому банальному приёму полемической редукции — объяснению *ad hoc*<sup>5</sup> при помощи аргументов *ad hominem*<sup>6</sup>.

В приложении<sup>7</sup> читатель сможет найти анализ процесса (в обоих смыслах слова — и как хода развития, и как судебной тяжбы) обретения медийной известности. Главный результат этого анализа — разоблачение наивности всех персональных разоблачений. Создавая видимость объективации игры, такого рода разоблачения лишь полнее в ней участвуют — в той мере, в какой стремятся поставить этот мнимый анализ на службу интересам, связанным с позицией в этой игре. Источником техники литературного

<sup>3</sup> Можно процитировать, среди прочих, самого недавнего представителя этой тенденции — Эрве Куто-Бегари, чей анализ школы «Анналов» вполне бесхитростно выдаёт вытесненное насилие, вызванное интеллектуальным исключением, удвоенным провинциализмом: «Таким образом, новые историки представляют *последовательный проект*, идеологически *адаптированный* к публике, для которой он был предназначен <...> Именно это расширение объясняет их успех. Далее, им удалось *привлечь внимание* издателей и СМИ *с целью* получить то, что Режи Дебре называет “социальной видимостью”» [Couteau-Begarie 1983: 247–248].

<sup>4</sup> Французский еженедельный культурно-политический журнал. — *Примеч. пер.*

<sup>5</sup> Для данного случая (лат.). — *Примеч. пер.*

<sup>6</sup> Применительно к человеку (лат.). — *Примеч. пер.*

<sup>7</sup> Речь идёт о приложении к данной книге, которое называется «Le hit-parade des intellectuels français» («Хит-парад французских интеллектуалов, или Кто должен судить о легитимности судей?»). — *Примеч. ред.*

хит-парада является не отдельный индивид (Бернар Пиво<sup>8</sup>, как в рассматриваемом случае), каким бы влиятельным и ловким он ни был, не особая институция (телепередача или журнал), не даже совокупность СМИ, способных осуществлять власть над полем культурного производства, но множество объективных отношений, составляющих это поле, и в особенности тех, которые устанавливаются между полем производства для производителей и полем широкого производства. Выявляемая научным анализом логика далеко превосходит намерения и замыслы индивидуальных или коллективных агентов, даже наиболее проницательных и влиятельных — тех, на кого указывает поиск «виновных». Однако было бы ошибкой выводить из этого анализа аргументы в пользу отсутствия ответственности, растворенной в охватывающей каждого агента сети объективных отношений. Тем, кто хотел бы использовать формулировку социальных законов, превращённых в судьбу, в качестве алиби для фаталистской или циничной покорности, необходимо напомнить, что научное объяснение, предоставляющее возможность для понимания и даже оправдания, даёт также возможность производить изменения. Возросшее знание механизмов, управляющих интеллектуальным миром, не должно (я намеренно использую этот специфический язык), как опасался Жак Бувресс, приводить к «освобождению индивида от тягостного бремени моральной ответственности» [Bouvresse 1984: 93]. Напротив, оно должно научить индивида чувствовать свою ответственность там, где он на самом деле независим, и упорно не поддаваться малодушию и бесконечно малым слабостям, позволяющим социальной необходимости действовать со всей силой, научить его бороться с собственным и чужим оппортунистским безразличием и разочарованным конформизмом, уступающим социальному миру всё, что тот требует, все эти мелочи безропотного потворства и покорности.

Известно, что группы едва ли любят тех, кто «продаёт секреты», и, быть может, особенно тогда, когда нарушитель или предатель имеет возможность апеллировать к их самым высоким ценностям. Те же самые люди, которые не упустили бы возможности поприветствовать как «смелую» или «проницательную» работу по объективации, проводись она на материале чужих или враждебных групп, будут склонны ставить под вопрос основания специфической проницательности, право на которую отстаивает исследователь собственной группы. Ученик колдуна, рискнувший заинтересоваться местным колдовством и его фетишами вместо того, чтобы в далёких тропиках искать утешительные чары экзотической магии, должен быть готов к тому, что высвобожденное им насилие обернётся против него. Занимая специфическую позицию, Карл Краус смог сформулировать закон, согласно которому объективация имеет тем больше шансов быть одобренной и чествуемой в качестве смелой в родственных кругах, чем более её объекты удалены в социальном пространстве. В редакционной статье первого номера своего журнала «Die Fackel» он писал: тот, кто отказывается от лёгких удовольствий и выгод удаленной критики в пользу критики непосредственного окружения (когда всё убеждает считать его сакральным), должен быть готов к мучительной «субъективной травле». Нам поэтому показалась соблазнительной идея назвать эту главу так, как средневековый китайский отступник Ли Чжи назвал свои саморазрушительные книги, в которых он раскрыл мандаринские правила поведения, — «Книга для сожжения». Не из желания бросить вызов тем, кто, хотя и готов восстать против инквизиции, отправит на костёр любую работу, которую сочтёт оскверняющей собственные верования<sup>9</sup>, но лишь для того, чтобы указать на противоречие, вписанное в разглашение секретов племени и столь болезненное лишь потому, что в обнародовании (даже частичном) самого личного есть что-то от публичной исповеди<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Речь идёт о приложении к данной книге, которое называется «Le hit-parade des intellectuels français» («Хит-парад французских интеллектуалов, или Кто должен судить о легитимности судей?»). — *Примеч. ред.*

<sup>9</sup> На манер своего рода символического аутодафа (без сомнения, не согласованного заранее) все венские газеты хранили абсолютное молчание вокруг «Die Fackel» на протяжении всей жизни Карла Крауса.

<sup>10</sup> Известно, что «Толкование сновидений», которое Фрейд считал своей наиболее важной работой, помимо явной логики научного трактата включает глубинный дискурс, где через ряд личных снов Фрейд даёт анализ своих запутанных отношений с отцом, политикой и университетом; см., например: [Schorske 1980: 181–207].

Социология слишком мало способствует созданию иллюзий, чтобы даже на мгновение социолог мог вообразить себя в роли героя-освободителя. Тем не менее, мобилизуя все доступные научные достижения в попытке объективировать социальный мир и отнюдь не осуществляя редуцирующего насилия или тоталитарной власти (на чём иногда настаивают, особенно когда объектом исследования становятся те, кто желает объективировать, не подвергаясь объективации), социолог предоставляет возможность некоторой свободы. По крайней мере, он может надеяться, что его исследование академических страстей будет для других тем же, чем оно было для него самого, то есть инструментом самоанализа.

### *Работа по конструированию и её эффекты*

Изучение мира, с которым мы связаны всевозможными специфическими инвестициями, неразрывно интеллектуальными и «мирскими», — это вызов, автоматически рождающий мысль о бегстве. Забота о том, чтобы избежать подозрения в предвзятости, приводит к попыткам отрицать себя в качестве «заинтересованного» и «пристрастного» субъекта, заранее подпадающего под подозрение в использовании научных инструментов в частных интересах, и даже к попытке устранить себя в качестве субъекта познания, прибегнув к наиболее безличным и механическим процедурам, которые согласно этой логике — логике «нормальной науки» — считаются самыми безупречными. (Здесь обнаруживается установка на *смирение*, которая так часто склоняет к выбору в пользу гиперэмпиризма, а также собственно политическое — в особом смысле — честолюбие, скрытое за этой сциентистской нейтральностью и располагающее разрешать запутанные споры с помощью научной работы и от имени науки, выступая в качестве арбитра или судьи и исключая себя в качестве вовлечённого в поле субъекта лишь для того, чтобы вновь появиться в этом поле, но уже «над схваткой», создавая безупречную видимость объективного, трансцендентального субъекта.)

Однако невозможно избежать работы по конструированию объекта и связанной с ней ответственности. Не существует объекта, который не предполагал бы определённой точки зрения, даже если речь идёт об объекте, созданном с намерением упразднить любую точку зрения, то есть пристрастность, и выйти за пределы частной перспективы, связанной с позицией в изучаемом пространстве. Тем не менее сами операции, реализуемые в процессе исследования, которые принуждают формулировать и *формализовать* неявные критерии обыденного опыта, делают *возможным* логический контроль собственных предпосылок. Само собой разумеется, что множество последовательных выборов (совершенных к тому же в течение ряда лет) не осуществляются в обстановке совершенной эпистемологической прозрачности и полной теоретической ясности<sup>11</sup>. (Таков случай проведённого в 1967 г. исследования структуры власти на гуманитарных факультетах, в результате которого, например, был сформирован список изучаемых индивидов, основанный на определении значимых в этом универсуме свойств, по сути — популяции наиболее «влиятельных», или «важных», преподавателей университетов.) Лишь тот, кто никогда не проводил эмпирических исследований, может верить или провозглашать обратное. Более того, нельзя быть уверенным, что такого рода непрозрачность, которую имеют для нас последовательные операции (включая то, что мы называем интуицией, то есть более или менее контролируруемую форму донаучного знания непосредственно схваченного объекта, а также научного знания аналогичных объектов), не является истинным условием плодотворности эмпирического исследования. Делая что-то и не до конца это осознавая, даёшь себе шанс открыть в том, что сделал, нечто ранее неизвестное.

Научное конструирование объекта исследования осуществляется путём медленного и трудного накопления различных показателей, значение которых подсказано практическим знанием различных власт-

<sup>11</sup> Далее, в главе 3, можно найти подробное описание принципов конструирования этой совокупности. Характеристики репрезентативной выборки, послужившей основой для анализа совокупности факультетов (за исключением фармакологического), описаны в главе 2. Источники, использованные в обоих исследованиях, описаны в приложении 1.

ных позиций (например, Консультативного комитета<sup>12</sup> или жюри конкурса на звание агреже (*agrégé*)<sup>13</sup>) и людей, обладающих репутацией «влиятельных». В расчёт берутся даже те свойства, которые обычно указываются или разоблачаются как признаки власти. Воспринимаемое в общих чертах «лицо» власти и «сильных мира сего», таким образом, постепенно уступает место аналитической серии различительных признаков обладателей власти и её различных форм, чьё значение, а также вес проясняются в ходе исследования благодаря связывающим их статистическим отношениям. Разрыв с первичной интуицией — результат долгого диалектического процесса, а не своего рода исходный и конечный акт одновременно, как нас убеждают некоторые «инициативные» представления об «эпистемологическом разрыве». В рамках этого процесса преобразованная в эмпирическую операцию интуиция анализирует и проверяет сама себя, порождая всё более обоснованные гипотезы, которые, в свою очередь, будут преодолены благодаря вызванным ими сложностям, ошибкам и ожиданиям<sup>14</sup>. Логика исследования является передаточной шестернёй для больших или малых проблем, заставляющих задуматься над тем, что мы делаем, и позволяющих всё лучше понимать то, что мы ищем, обеспечивая первые шаги на пути к ответу, которые приводят к появлению новых более фундаментальных и эксплицитных вопросов.

Однако было бы крайне опасно довольствоваться этим «учёным незнанием». И я даже сказал бы, что основным достоинством научной работы по объективации является то, что она позволяет (конечно, при условии, что мы способны проанализировать её результаты) объективировать объективацию. Действительно, для исследователя, стремящегося знать, что он делает, код из инструмента анализа превращается в его объект: рефлексивный взгляд переводит объективированный результат работы по кодификации в непосредственно читаемый след, оставленный действиями по построению объекта, в сетку, использовавшуюся при конструировании данных, в систему более или менее согласованных категорий восприятия, которые произвели объект научного анализа, в данном случае — мир «влиятельных преподавателей университета» и их свойств. Совокупность принятых во внимание свойств объединяет, с одной стороны, множество критериев, которые (помимо *имени собственного*, наиболее ценного из всех свойств, когда речь заходит об известном имени) действительно пригодны для использования и реально применяются в повседневной практике для *идентификации* или даже классификации университетских преподавателей (об этом свидетельствует тот факт, что, по большей части, мы рассматриваем уже опубликованную информацию и главным образом формулы самопредставления). С другой стороны, это ряд характеристик, подсказанных в качестве релевантных (и в силу этого конститутивных) практическим опытом самого университетского поля.

Кроме того, рефлексивное обращение к самой операции кодирования обнаруживает все то, что отделяет практические и неявные схемы обыденного восприятия от сконструированного кода, который зачастую лишь повторяет социально гарантированные кодификации, вроде типа диплома или социально-профессиональных категорий INSEE<sup>15</sup>, и заодно все, с чем сопряжено — когда речь идёт об адекватном

<sup>12</sup> Консультативный комитет университетов (Comité Consultatif des Universités, CCU) является инстанцией, содействующей правительству в области университетской политики. Кроме того, он контролирует рекрутирование и карьерный рост преподавателей. — *Примеч. пер.*

<sup>13</sup> Так называемая агрегация (*agrégation*), или конкурс на замещение должности преподавателя лицея или, реже, высшего учебного заведения. Учреждён в 1766 г.; свой современный вид принял в 1885 г. Включает четырёх — семичасовое письменное сочинение и устный экзамен в форме лекции. — *Примеч. пер.*

<sup>14</sup> Я никогда не перестану сожалеть о том, что не сохранил *журнал исследования*, который лучше, чем любые рассуждения, мог бы показать роль эмпирической работы в постепенном осуществлении разрыва с первичным опытом. Тем не менее знакомство со списком использованных источников (см. приложение 1) могло бы дать представление о контролируемом сборе информации, являющемся основным отличием научного знания от обыденного опыта.

<sup>15</sup> Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) — Национальный институт статистики и экономических исследований, аналог Госкомстата. Функцией института является производство и анализ официальной статистики, предназначенной для нужд государственного управления. — *Примеч. пер.*

понимании научной работы и её объекта — осознание этого различия: по сути, любой код, как в смысле теории информации, так и в юридическом смысле (кодекс), предполагает согласие как в отношении конечного множества считающихся релевантными свойств, так и по поводу множества формальных отношений между ними (юридические формулы, согласно М. Веберу, берут в расчёт исключительно общие и однозначные характеристики рассматриваемого случая). Если это верно, то не различать научное кодирование, повторяющее уже существующую в социальной реальности кодификацию, и сборку из разных частей нового критерия, тем самым считая решённым вопрос о его релевантности, который сам может оказаться ставкой в конфликте, и в общем плане уходить от вопроса о социальных условиях и эффектах кодификации значит обречь себя на серьёзные последствия. Одной из наиболее важных характеристик любого свойства, которая упраздняет смешение социально признанных критериев и критериев, созданных исследователем, является степень его кодифицированности; так же как одной из наиболее значимых характеристик поля является степень объективации существующих в нем социальных отношений в публичных сводах правил (кодексах).

Действительно, не вызывает сомнений, что различные свойства, выбранные для конструирования идентичности университетских преподавателей, очень неодинаково используются в обыденном опыте восприятия и оценки предконструированной индивидуальности этих же агентов, очень неравномерно объективированы и, соответственно, в разной степени представлены в письменных источниках. Граница между институционализированными и поэтому зафиксированными в официальных документах свойствами и свойствами, объективированными в незначительной степени или же вовсе не объективированными, является относительно подвижной и меняется в зависимости от времени и обстоятельств (такой научный критерий, как, например, социопрофессиональная категория, может стать критерием практическим при определённой политической конъюнктуре). Таким образом, мы движемся в сторону уменьшения степеней объективации и официальности — от формальных званий, используемых при представлении себя (например, в официальных письмах, удостоверениях личности, визитных карточках и т. д.), вроде университетской должности («профессор Сорбонны») или позиции в структуре распределения власти («декан») или авторитета («член Института»<sup>16</sup>), университетских званий («бывший ученик Высшей нормальной школы»), этих *официальных* характеристик, которые узнаются и признаются всеми и часто идут в паре с формами обращения («господин профессор», «господин декан» и т. д.). Мы движемся к свойствам, хотя и институционализированным, но редко используемым в официальных классификациях повседневного существования, вроде руководства лабораторией и членства в Высшем совете университета или в приёмной комиссии Высших школ. Наконец, мы достигаем тех часто неуловимых для посторонних знаков, которые определяют так называемый престиж, то есть позицию в строго интеллектуальных или научных иерархиях. В этом случае исследователь постоянно сталкивается с альтернативой либо ввести более или менее искусственные и даже произвольные (по меньшей мере, всегда рискующие быть изобличёнными в качестве таковых) классификации, либо заключить в скобки иерархии, которые, даже если и не существуют в объективированном — публичном, официальном — состоянии, тем не менее постоянно оказываются под вопросом и являются ставками в самой объективности. На самом деле, как будет видно далее, это верно для всех критериев, даже наиболее «бесспорных»; таких, например, как чисто «демографические» показатели, позволяющие тем, кто использует их постоянно, считать свою «науку» естественной<sup>17</sup>. Однако в случае выбора показа-

<sup>16</sup> «Институт Франции», объединение пяти академий. — *Примеч. пер.*

<sup>17</sup> Необходима обстоятельная критика эффекта натурализации, которому особенно подвержена демография. Он придаёт некоторым параметрам (возраст, пол или даже семейное положение) и работам, бесцеремонно ими манипулируя, видимость «абсолютной» объективности. В более общем плане (и тем не менее не надеясь отбить охоту навязчиво воспроизводить работы, стремящиеся свести историю к биологической, географической или любой другой природе) было бы неплохо описать форму, которую принимает этот эффект деисторизации в каждой из социальных наук, начиная с этнологии, когда она воздаёт должное вербальным аналогиям с естественными науками, и заканчивая самой историей,

телей «научного» или «интеллектуального престижа», наименее объективированного из релевантных свойств, мы обнаруживаем, что вопрос о критериях, то есть о принципах иерархизации и легитимной принадлежности, и, точнее, вопрос о различных видах власти и принципах их определения и иерархизации, который исследователь неизбежно задаёт себе по поводу объекта, оказывается поставленным *внутри самого объекта исследования*.

Таким образом, работа по конструированию объекта определяет конечное множество *релевантных свойств*, устанавливаемых гипотетически в качестве *действующих переменных*, чьи вариации связаны с вариациями наблюдаемого феномена. Тем самым она определяет популяцию *сконструированных индивидов*, характеризующихся разной степенью обладания этими свойствами. Эти логические операции производят совокупность эффектов, которые должны быть ясно выражены, дабы избежать их неосознанной регистрации в режиме констатации факта (что составляет основную ошибку объективистского позитивизма). В первую очередь объективация необъективированного — научного престижа, например — стремится произвести, как показано выше, эффект официализации, квазигирической по своему типу. Так, установление степеней международного признания, основанное на количестве цитат, или разработка индекса вовлечённости в журналистику являются операциями, полностью аналогичными тем, что осуществляются внутри поля производителями хит-парадов<sup>18</sup>. Этот эффект не может остаться незамеченным в пограничном случае свойств, официально или молчаливо исключённых из любых официальных и институционализированных (или даже неофициальных и неформальных) таксономий, таких как религиозная принадлежность или сексуальные предпочтения (гетеросексуальность и (или) гомосексуальность), несмотря на то что эти свойства могут играть определённую роль в практических суждениях и быть связанными с эмпирическими вариациями наблюдаемой реальности (именно такого рода информацию имеют в виду, когда разоблачают «полицейский» характер социологического исследования).

Чтобы увидеть эффекты научной кодификации и, в частности, гомогенизацию статуса, затрагивающую свойства, крайне неравномерно объективированные в реальности, достаточно рассмотреть способ и степень существования в качестве *групп* тех популяций, которые выделяются на основании различных критериев, от возрастных или (вопреки появлению феминистского движения и сознания) гендерных групп до групп нормальнцев<sup>19</sup> или агреже<sup>20</sup>, характеризующихся двумя различными способами коллективного существования: при минимальной институциональной поддержке (ассоциации выпускников, ежегодные обеды поступивших в один год, регулярный информационный бюллетень) диплом нормальнца обеспечивает сеть практической солидарности; напротив, звание агреже не предполагает настоящей практической солидарности, связанной с общим опытом, и служит опорой для организации («Общество агреже»), ориентированной на защиту ценности самого звания и всего, с чем эта ценность связана. «Общество агреже» наделено мандатом, который позволяет ему говорить и действовать от

---

когда она ищет в «неподвижной истории» почвы или климата ту субстанцию, по отношению к которой исторические движения были бы лишь случайностями.

<sup>18</sup> Нельзя исключать, что сам научный анализ произведет эффект теории, который сможет изменить привычное видение поля.

<sup>19</sup> Студент или выпускник Высшей нормальной школы (École normale supérieure, ENS), которая готовит преподавателей для среднего и высшего образования. Во Франции Высшие школы (*Grandes écoles*), а ENS — одна из них, приравнены к университетам по статусу, но являются более престижными. Так, например, если в университет можно поступить без экзамена, то в Высшие школы поступают по результатам экзамена обычно после двух лет обучения в специальных подготовительных классах. — *Примеч. пер.*

<sup>20</sup> Агреже (*agrégé*) — это престижная учёная степень, которая присуждается выпускникам университета после прохождения специального конкурса и даёт своим обладателям право преподавать в лицеях, колледжах и на некоторых факультетах университетов. Звание агреже, хотя и не необходимо для занятия преподавательских должностей, является важнейшей составляющей успешной преподавательской карьеры во Франции. — *Примеч. пер.*



лица группы в целом, выражать и защищать ее интересы (например, в ходе переговоров с политической властью).

Эффекты институционализации и гомогенизации, осуществляющиеся через простую кодификацию, и эффекты элементарной формы признания, которым кодификация без разбора наделяет в неравной степени признанные критерии, являются эффектами права. В той мере, в какой эти эффекты действуют без ведома исследователя, они приводят этого последнего к решению «именем науки» того, что не нашло разрешения в реальности. На самом деле степень практического признания различных свойств значительно меняется в зависимости от агентов (а также от ситуации и времени). Некоторые свойства можно выставлять напоказ и публично отстаивать (например, факт сотрудничества с журналом «Le Nouvel Observateur», этот случай не является воображаемым), и они будут восприняты другими, занимающими иные позиции в поле, как стигмы, предполагающие исключение из данного поля. Такие случаи полной инверсии, когда звания, подтверждающие достоинство одних, могут стать знаком бесчестия для других, герб — оскорблением и наоборот, служат напоминанием о том, что университетское поле, как и любое поле вообще, является местом борьбы за определение условий и критериев легитимного членства и легитимной иерархии, то есть тех релевантных, действующих свойств, которые функционируют как капитал и способны приносить специфические прибыли, гарантированные полем. Различные совокупности индивидов (в большей или меньшей степени организованные в группы), определённые этими различными критериями, непосредственно заинтересованы в них: отстаивая их, прилагая усилия для их признания, требуя установить их в качестве легитимных свойств, специфического капитала, они стараются изменить законы образования цен на университетском рынке и тем самым увеличить свои шансы на получение прибыли.

Таким образом, в самой реальности существует множество конкурирующих принципов иерархизации, и определяемые ими ценности являются несоизмеримыми и даже несовместимыми друг с другом, поскольку связаны с конфликтующими интересами. Невозможно просто суммировать такие свойства, как участие в Консультативном комитете университета или жюри конкурса на звание агреже и факт публикаций в издательстве Gallimard или журнале «Le Nouvel Observateur», как, без сомнения, это сделали бы любители индексов. Псевдонаучное создание суммарных показателей лишь воспроизводит полемическую амальгаму, обозначаемую полунаучным использованием понятия «мандарин». Множество критериев, употребляемых научным конструированием в качестве инструментов познания и анализа, даже выглядящие наиболее нейтральными и естественными, вроде возраста, также функционируют в реальности практик как принципы деления и иерархизации (нужно только вспомнить о классификаторском и часто полемическом применении оппозиций: старый — молодой, палео — нео, давний — новый и т. д.) и в этом качестве также являются ставками в борьбе. Иными словами, шанс избежать подмены истины университетского поля теми или иными в разной степени рационализированными представлениями (особенно полунаучными, произведёнными научными кругами о самих себе), рождающимися в борьбе классификаций, есть лишь при условии, что в объект исследования будет включена также операция по классификации, осуществляемая исследователем, и то, как она соотносится с классификациями (функционирующими зачастую как обвинения), которым доверяют себя агенты (и сам исследователь, стоит ему закончить полевою работу).

В действительности именно из-за того что эти две логики не были чётко разделены, в данной области, как и в прочих, социология столь часто стремится предложить под именем «типологий» полунаучные таксономии, которые смешивают ярлыки, произведённые изучаемым сообществом и нередко более близкие к стигме или оскорблению, чем к понятию, и «научные» определения, созданные на базе более или менее обоснованного анализа. Организованные вокруг нескольких типичных персонажей, эти «типологии» не являются ни по-настоящему конкретными, хотя они и были, без сомнения, созданы (подобно «характерам» моралистов) на основе знакомых по собственному опыту фигур или более-

менее спорных категорий, ни действительно сконструированными, хотя они и прибегают к выражениям из жаргона американских *social scientist* (обществоведов), таким как *local*, *parochial* и *cosmopolitan* (местные и космополиты). Будучи продуктом реалистического намерения описать «типичных» индивидов или группы, конструкты беспорядочно комбинируют различные основания оппозиций, смешивая разнородные критерии — возраст, отношение к политической власти или науке и т. д. В качестве примера можно привести *locals* местных (включающих *dedicated* («полностью преданных институции»), *true bureaucrat*, *homeguard* и *elders* (подлинных бюрократов, хранителей устоев и ветеранов) и *cosmopolitans* (включающих *outsiders* и *empire builders* (приглашённых, чужаков и поборников империи)), различаемых Алвином У. Гоулднером в зависимости от установок по отношению к институции (*faculty orientations*), инвестиций в профессиональную компетенцию и ориентации вовне или вовнутрь [Gouldner 1957]. Можно также рассмотреть типологию Бертон Кларка, который в каждом из её элементов — в *teacher* (преподавателе), преданном своим студентам; в *scholar-researcher* (исследователе), «полностью увлечённом своей лабораторией химике или биологе»; в *demonstrator* (демонстраторе), своего рода инструкторе, в чьи функции входит передача технических компетенций; в *consultant* (консультанте), «проводящем в самолёте столько же времени, сколько в кампусе» — видит представителя особой культуры [Clark 1963a; 1963b]. Наконец, хотя можно было бы продолжать в том же духе, примером подобного подхода являются шесть типов, выделенных Джоном У. Гастадом: *scholar* (академический работник), считающий себя не служащим, работающим по найму, а свободным гражданином академического сообщества; *curriculum adviser* (методист); *individual entrepreneur* (индивидуальный предприниматель); *consultant* (консультант), находящийся всегда за пределами кампуса; *administrator* (администратор) и ориентированный вовне *cosmopolitan* (космополит) [Gustad 1966].

Едва ли есть необходимость упоминать все случаи превращения понятий-оскорблений или полунаучных стереотипов (вроде *jet sociologist*, «перелётный социолог») в квазинаучные «типы» (*consultant* (консультант), *outsider* (приглашённый), как, впрочем, и все едва различимые знаки, выдающие позицию аналитика в анализируемом пространстве. На самом деле эти типологии пользуются доверием лишь в той мере, в которой они, будучи продуктом схем классификаций, циркулирующих в конкретном социальном пространстве, действуют как серии реальных делений мира объективных отношений (аналогичных тем, которые производит обыденная интуиция), редуцированного таким образом к популяции профессоров университета, препятствуя осмыслению университетского поля как такового и тех отношений, которые связывают его в различные моменты истории и в разных национальных сообществах, с одной стороны, с полем власти, а с другой — с научным и интеллектуальным полем. Если эти типологии (к несчастью, очень распространённые и отлично представляющие то, что зачастую выдаётся за социологию) и заслуживают внимания, то лишь потому, что, переводя вещи на язык, представляющийся научным. Они могут убедить (и не только самих авторов) в том, что открывают доступ к более высокому уровню познания и реальности, тогда как в конечном счёте сообщают меньше, чем непосредственное описание хорошего информанта. Классификации, порождённые скрытым применением принципов видения (*vision*) и деления (*division*), используемых обычно для нужд практики, «подобны тем, которые мы получили бы, попытавшись, по словам Витгенштейна, «классифицировать облака согласно их форме» [Wittgenstein 1964: 181. (цит. по: [Bouveresse 1976: 186]). Однако видимость зачастую убедительна, и эти описания, лишённые объекта, на чьей стороне логика обыденного опыта и фасад научности, лучше приспособлены для удовлетворения общих ожиданий, чем научные конструкции, которые напрямую сталкиваются с индивидуальностью частного случая, схваченного во всей его сложности, и в то же время гораздо более удалены от непосредственного представления о реальности, данного обыденным языком или его полунаучным переводом.

Таким образом, социальная наука может разорвать с обыденными критериями и классификациями и вырваться из борьбы, в которой они являются одновременно ставкой и средством, лишь в том случае, если она очевидным образом сделает их собственным объектом, вместо того чтобы позволять им тай-

ком проникать в научный дискурс. Мир, который она должна изучать, это объект и, по крайней мере отчасти, продукт конкурирующих и порой антагонистических представлений, претендующих на истину и тем самым на существование. Любые убеждения в отношении социального мира упорядочиваются и организуются исходя из определённой позиции в этом мире, то есть с учётом сохранения или увеличения связанной с этой позицией власти. В мире, который в той же степени, что и поле университета, зависит в своём существовании от представлений, составленных о нем агентами, эти последние могут использовать множественность принципов иерархизации и слабую степень объективации символического капитала для того, чтобы попытаться навязать собственное видение и изменить свою позицию в пространстве, меняя, в той мере, в которой им это позволяет сделать символическая власть, коей они обладают, представления других (и свои собственные) об этой позиции. Нет ничего более показательного в этом отношении, чем предисловия, вступления, преамбулы или введения, часто скрывающие под видом необходимых методологических замечаний более или менее искусные попытки трансформировать в научную добродетель принуждения и особенно границы, вписанные в некоторую позицию и траекторию, и в то же время лишить очарования недоступные добродетели. Так, можно увидеть учёного-эрудита, которого обычно называют «узким специалистом» и который не может не знать об этом (ему на это, без сомнения, указывали множество раз и самыми разными способами с помощью убийственно эвфемизированного языка академических суждений и прежде всего быть может, через авторитетные вердикты, признающие за ним лишь «серьёзность»), старающегося дискредитировать смелость «блестящих» эссеистов и «амбициозных» теоретиков. Что до последних, то они будут прибегать к риторике иронии, чтобы хвалить эрудицию, поставляющую «исключительно полезный материал» для их размышлений. И только в том случае, если действительно почувствуют угрозу гегемонистской позиции, которую себе приписывают, они открыто выразят своё высочайшее презрение к мелочной и стерильной осторожности «позитивистских» болванов<sup>21</sup>.

Одним словом, как хорошо видно во время полемики — важнейших моментов постоянной символической конкуренции, — практическое познание социального мира, и особенно противников, подчинено *редукционизму*. Оно использует классифицирующие ярлыки, обозначающие или отмечающие группы и совокупности синкретически воспринимаемых свойств и не позволяющие осознать их собственные основания. Нужно полностью игнорировать эту логику, чтобы ожидать от некоторой техники, вроде техники судей, что она позволит избежать вопроса об инстанциях, уполномоченных легитимировать агенты легитимации (метод судей состоит в опросе группы агентов, рассматриваемых в качестве экспертов, по поводу спорных проблем — например, критериев, релевантных для определения университетской власти или иерархии престижа). Достаточно подвергнуть испытанию эту технику, чтобы увидеть, что она *воспроизводит* логику той самой игры, которую, как предполагается, должна оценивать: различные судьи — и один и тот же судья в разные моменты времени — используют разные и даже несовместимые критерии, воспроизводя, таким образом, но лишь приблизительно, поскольку это происходит в *искусственной ситуации*, логику классифицирующих суждений, производимых агентами в повседневной жизни. Даже самое поверхностное обращение к отношениям между собранными категориями и свойствами тех, кто их формулирует, показывает, что природа полученных суждений предопределена выбором критериев отбора судей, то есть их позицией в пространстве, ещё незнакомом на этой стадии исследования, которая лежит в основании их заключений.

<sup>21</sup> Мы ограничимся этими примерами (немного нереальными из-за их «очищенности»), не имея возможности предоставить исследования отдельных случаев, обреченные показаться полемическим выпадом. Однако лишь они позволили бы продемонстрировать наиболее типичные стратегии этой риторики самолегитимации и показать, что в них находят выражение, чаще всего в высшей степени эвфемизированном (хотя и совершенно прозрачном для людей опытных) виде, родовые и специфические характеристики занимаемой в поле университета, и в том или ином специализированном субполе позиции.

Значит ли это, что у социолога нет иного выбора, кроме как использовать техническую, но также и символическую силу науки для того, чтобы стать высшим судьёй и навязать суждение, которое никогда не может быть полностью свободно от предпосылок и предубеждений, *обусловленных* его позицией в исследуемом поле, или отказаться от власти абсолютистского объективизма, чтобы довольствоваться перспективистской регистрацией существующих точек зрения (включая свою собственную)? В действительности свобода социолога по отношению к довлеющим над ним социальным принуждениям пропорциональна силе его теоретических и технических инструментов объективации и прежде всего, быть может, его способности обратить их, так сказать, против самого себя — объективировать собственную позицию с помощью объективации пространства, внутри которого определяются и его позиция, и его изначальное видение своей и противоположных позиций. Но в то же время эта свобода пропорциональна способности социолога объективировать само намерение объективировать, само желание занять по отношению к миру — и особенно к тому миру, частью которого он является, — суверенную, абсолютную точку зрения, а также его способности работать над тем, чтобы исключить из научной объективации все то, чем она может быть обязана стремлению господствовать, используя инструменты науки. Наконец, эта свобода пропорциональна способности сфокусировать усилие по объективации на диспозициях и интересах, которыми исследователь обязан своей траектории и позиции, а также на собственной научной практике, на предпосылках, предполагаемых её понятиями, проблематикой и всеми этическими или политическими целями, которые связаны с социальными интересами, присущими определённой позиции в поле науки<sup>22</sup>.

Когда объект исследования — тот мир, где оно осуществляется, полученные результаты могут быть немедленно реинвестированы в научную работу в качестве инструментов рефлексивного познания социальных условий и границ этой работы, что является одним из основных инструментов эпистемологической бдительности. Быть может, по-настоящему продвинуться в познании поля науки можно лишь при условии использования любого доступного знания, для того чтобы понять и преодолеть препятствия на пути науки, связанные с тем фактом, что исследователь занимает позицию в этом поле — и позицию вполне определённую, — а не для того, чтобы сводить, как обычно и происходит, *доводы* противников к *причинам*, к социальным интересам. Есть все основания полагать, что с точки зрения научного качества своей работы исследователь менее заинтересован в познании интересов других, чем собственных, то есть в познании того, в знании и незнании чего он заинтересован. Таким образом, можно без малейшего подозрения в морализме утверждать, что научная выгода с некоей вероятностью получена в данном случае лишь ценой отказа от выгоды социальной и особенно при условии сохранения бдительности в отношении соблазна использовать науку или её эффекты в попытке одержать социальную победу в научном поле. Другими словами, некоторый шанс внести вклад в науку о власти есть лишь при условии отказа от использования науки в качестве инструмента власти, и прежде всего — в мире самой науки.

Ницшеанская генеалогия, марксистская критика идеологий, социология знания — всё абсолютно легитимные методы, которые стремятся соотнести культурную продукцию с социальными интересами, были, как правило, сбиты с толку эффектом двойной игры, порождённым соблазном поставить науку о борьбе на службу самой борьбе. Такого рода незаконное использование социальной науки (или авторитета, который она может дать) находит своё образцовое — поскольку оно является образцово наивным — воплощение в статье Раймона Будона, выдающей за научный анализ французского интеллектуального поля разоблачение «внеаучного» успеха, которое — едва — скрывает защиту *pro*

<sup>22</sup> Исторический или социологический релятивизм, который ссылается на включенность исследователя в социальный мир, чтобы поставить под сомнение его способность достичь внеисторической истины, почти всегда игнорирует включенность в поле науки и связанные с этим интересы, закрывая для себя, таким образом, любую возможность контроля над специфическим опосредованием, через которое осуществляются все детерминации.

*domo*<sup>23</sup>, состоящую в превращении безвестности в добродетель (см.: [Boudon 1981]). Описание, не включающее никакого критического обращения к позиции, исходя из которой оно производится, не может иметь иного основания, кроме интересов, связанных с непроанализированным отношением, поддерживаемым аналитиком с объектом своего анализа. Нет ничего удивительного в том, что основное положение статьи — это не что иное, как социальная стратегия, стремящаяся дискредитировать национальную иерархию знаменитостей, упрекая её в том, что она является исключительно французской, то есть связана с особенностями и своеобразием, которые автоматически отождествляются с архаизмами (вроде литературного склада ума). Эта стратегия старается противопоставить национальной иерархии, которая — неявно — обозначена как отличающаяся от иерархии интернациональной и единственно научной (а тем самым как вненаучная), ту, что считается научной, поскольку представляет собой международной, то есть американскую иерархию<sup>24</sup>. Примечательный факт: эта сциентистская точка зрения не выдерживает никакой эмпирической проверки. Той, например, которая заставила бы заметить, что значительная фракция производителей (как мы увидим далее), господствующая над тем, что в уже довольно старой статье [Bourdieu 1971] я назвал рынком или полем ограниченного производства и что Раймон Будон, всегда заботящийся о внешних признаках научности, называет без всяких ссылок «Рынок I», является также и наиболее признанной на рынке массового производства. Эмпирическая проверка также показала бы, что чаще всего переводятся на другие языки или упоминаются в «Citation Index» (в нем нет ничего специфически французского), как правило, исследователи, обладающие наибольшим признанием в самых вненаучных секторах национального рынка (за исключением таких наиболее традиционных дисциплин, как древняя история или археология, не имеющих ничего особенно «литературного»).

Конструируя конечное и завершённое множество свойств, которые функционируют как действующие силы в борьбе за специфически университетскую власть и которые неравномерно распределены, социолог производит объективное пространство, определённое методически и однозначно (и поэтому воспроизводимое) и несводимое к сумме всех частичных представлений агентов. Таким образом, «объективистская» конструкция, являющаяся условием разрыва с изначальным видением и всеми разнородными рассуждениями, смешивающими наполовину конкретное и наполовину сконструированное, ярлык и понятие, позволяет также заново ввести в знание об объекте донаучные представления, составляющие его неотъемлемую часть. Невозможно отделить намерение определить структуру поля университета — пространства с несколькими измерениями, созданного на основе множества видов власти, которые могут в тот или иной момент времени стать действующими в конкурентной борьбе, — от намерения описать находящуюся в структуре поля своё основание логику борьбы, стремящуюся сохранить или трансформировать эту структуру, переопределяя иерархию видов власти (и, следовательно, иерархию свойств). Даже не принимая организованной формы конкуренции между сознательно мобилизованными или безмолвно солидарными группами, борьба, где критерии и те свойства, о которых они сообщают, оказываются одновременно инструментами и ставками, является несомненным фактом. Исследователь должен включить этот факт в свою модель реальности, а не пытаться его искусственно исключить, вставая в позу арбитра или «стороннего наблюдателя», судьи последней инстанции, который единственный мог бы произвести *правильное ранжирование*, способное примирить всех, расставив все на свои места. Ему следует преодолеть альтернативу объективистского видения объективной классификации (его карикатурным выражением является поиск единой шкалы и суммарных показателей)

<sup>23</sup> В защиту своих личных интересов (*лат.*) — *Примеч. пер.*

<sup>24</sup> Тот факт, что основные тезисы в поддерживающем этот анализ рассуждении (французская иерархия отлична от иерархии международной; международная иерархия — единственно научная; следовательно, французская иерархия вненаучна) остаются в неявном виде даже в тексте с претензией на научность, демонстрирует одно из фундаментальных свойств полемических приемов, наиболее характерных для борьбы внутри интеллектуального поля: опираясь на разделяемые всей группой предпосылки, стратегии очернения, стремящиеся подорвать символический вес конкурентов, действуют более или менее клеветническими *намёками*, которые чаще всего не выдержали бы открытой критики.

и видения субъективистского, или, лучше сказать, *перспективистского*, которое довольствовало бы констатацией разнообразия иерархий, рассматриваемых как несопоставимые точки зрения. В действительности, как и взятое в целом социальное поле, поле университета — это место борьбы классификаций. Будучи направлена на сохранение или трансформацию состояния силовых отношений между различными критериями и разными видами власти, на которые они указывают, эта борьба вносит вклад в создание объективно фиксируемой в определённый момент времени классификации. Но представление агентов о классификации, как и сила и направление стратегий, которые они могут использовать для его поддержания или разрушения, зависит от их позиции в объективных классификациях<sup>25</sup>. Научное исследование стремится, таким образом, к адекватному познанию как объективных отношений между различными позициями, так и необходимых отношений, устанавливающихся через габитус тех, кто их занимает, между позициями (*position*) и связанными с ними убеждениями, то есть между занимаемой в пространстве точкой и точкой зрения на это пространство, которая является частью его реальности и становления. Другими словами, классификации, производимые научной работой через выделение *областей* в пространстве позиций, это объективное основание классификаторных стратегий, через которые агенты стремятся это пространство сохранить или изменить. И в число этих стратегий нужно включить образование групп, мобилизуемых для защиты интересов их членов.

Требование объединить два видения, объективистское и перспективистское, ценой усилий, направленных на объективацию объективации, на создание теории эффекта теории, актуально и по другой причине, несомненно, фундаментальной как с теоретической, так и с политической или этической точек зрения: научное конструирование «объективного» пространства действующих агентов и свойств стремится заменить общее и смутное восприятие популяции «власть имущих» на восприятие аналитическое и рефлексивное, разрушая, таким образом, присущие обыденному опыту неясность и неопределённость. Понять «объективно» мир, в котором кто-то существует, не осознавая логики этого понимания и того, что отделяет её от понимания практического, — значит закрыть себе путь к пониманию того, что делает этот мир пригодным для жизни и жизнеспособным, то есть самой неясности практического понимания. Как в случае обмена дарами, не обладающий истиной о самом себе объективистский анализ не учитывает условия, делающие практику возможной, которые состоят в незнании модели, способной её объяснить. И лишь удовлетворение, доставляемое объективистским видением редукционистскому расположению духа, могло бы заставить забыть ввести в модель реальности дистанцию, которая отделяет опыт от объективистской модели и составляет переживаемую истину опыта.

Несомненно, существует не так уж много миров, предоставляющих столько свободы и даже институциональной поддержки играм самообмана и расхождению между переживаемым представлением и истиной позиции, занимаемой в поле или социальном пространстве. Терпимость к этому расхождению на редкость верно отражает среду, которая оправдывает и поощряет все формы *расщепления личности*, иными словами, все способы заставить сосуществовать смутно осознаваемую объективную истину и ее отрицание, что позволяет самым обделённым в отношении символического капитала агентам выстоять в этой борьбе всех против всех, где каждый зависит от всех остальных (являющихся одновременно конкурентами и клиентами, противниками и судьями) в определении своей истины и ценности, то есть своей символической жизни и смерти<sup>26</sup>. Ясно, что эти системы индивидуальной защиты не действова-

<sup>25</sup> Эта борьба необязательно воспринимается в качестве таковой: агент или группа агентов могут быть угрозой влиянию других членов поля просто в силу своего существования (например, навязывая новые способы мышления и выражения, а также благоприятные для собственной продукции критерии оценки), не рассматривая их сознательно в качестве конкурентов и ещё меньше — в качестве врагов и не прибегая к стратегиям, преднамеренно направленным против них.

<sup>26</sup> Необходимо проанализировать процедуры спонтанной семиотики и статистики, с помощью которых складывается практическая интуиция позиции, занимаемой в распределении специфического капитала, и особенно — расшифровку и исчисление ее спонтанных или институционализованных показателей. Также нужно подвергнуть анализу механизмы защиты и отрицания истины — все формы сообществ, обеспечивающих взаимное признание, и все стратегии

ли бы, если бы не встречали поддержки со стороны тех, кого занятие тождественной или гомологичной позиции склоняет к узнаванию в этих жизненно необходимых заблуждениях и иллюзиях выражения упорного стремления сохранить социальное существование, сходное с их собственным.

Многие более или менее институционализированные представления и практики могут быть поняты только как *системы коллективной защиты*. С их помощью агенты находят возможность избежать слишком болезненных сомнений, которые могли бы быть вызваны строгим применением провозглашаемых критериев, например научности или учёности. Так, многообразие шкал оценки (научных или административных, университетских или интеллектуальных) предлагает многообразие путей спасения и форм совершенства, позволяя каждому (с согласия всех) скрывать всем известные истины<sup>27</sup>. Научный отчёт должен принимать во внимание эффекты расплывчатости, порождаемые в самой реальности неопределённостью критериев и принципов иерархизации: например, неточность таких критериев, как место публикации или число посещённых зарубежных коллоквиумов и конференций, связана с тем, что в каждой науке существует сложная и спорная иерархия журналов и издательств, стран и коллоквиумов, а также с тем, что отказавшихся от участия порой трудно отличить от тех, кого не приглашают. Одним словом, было бы серьёзным покушением на объективность не включить в теорию объективную неточность иерархий, которую как раз и стремится преодолеть модель, созданная на основе обязательного учёта показателей научного статуса. Следует спросить себя, не является ли сама множественность иерархий и сосуществование практически несоизмеримых видов власти (научного престижа и университетской власти, внутреннего признания и внешней славы) эффектом своего рода антимонопольного закона, одновременно встроенного в структуры и молчаливо признанного в качестве защиты от результатов последовательного применения официально признанных норм.

Ещё одно проявление этого состоит в том парадоксальном факте, что причисляющий себя к науке мир практически не предлагает институционализированных знаков научного престижа как такового. Несомненно, можно сослаться на Институт и золотую медаль CNRS<sup>28</sup>, однако первый из этих знаков отличия, по-видимому, связан с признанием этико-политических диспозиций в той же мере, что и научных достижений, тогда как второй является совершенно исключительным. В рамках той же логики, то есть как уступку, навязанную необходимостью иметь и обеспечивать гарантии защиты от специфических рисков ремесла исследователя, можно понять склонность стольких научных комитетов функционировать в качестве паритетных комиссий<sup>29</sup>, а также стратегии, свойственные занимающим подчинённые позиции внутри университетского или научного поля. Суть этих стратегий заключается в использовании способности к универсализации, предоставленной политической или профсоюзной риторикой, для интерпретации гомологии позиций как тождества условий (например, согласно схеме трёх «Р» — *patron* (хозяин), *professeur* (профессор), *père* (отец), — которая произвела фурор в 1968 г.) и для более или менее вынужденного отождествления (во имя солидарности, что никогда не исчезает полностью) друг с другом всех, кто занимает подчинённые позиции во всех возможных полях, позиций

---

компенсации и замещения, вроде университетского профсоюзного движения и политики. И то и другое открывает доступ к сфере, которая предоставляет благоприятную среду для стратегий двойной идентичности, или двойного языка, поддерживаемых использованием бесконечно растяжимых понятий, вроде «трудящиеся», или переносом словаря и способов мышления, заимствованных из рабочей борьбы.

<sup>27</sup> Одна из причин путаницы иерархий заключается в разделении на дисциплины и внутри каждой из них на специальности, которые, будучи иерархизированными, предлагают тем не менее собственные автономные иерархии.

<sup>28</sup> Национальный центр научных исследований (Centre national de recherche scientifique, CNRS). Эта институция была основана в 1939 г. Жаном Перреном, нобелевским лауреатом по физике, и ориентирована преимущественно на фундаментальные исследования. Она подчиняется Министерству научных исследований и технологий, располагает собственным штатом сотрудников и обладает автономным финансированием. В общих чертах является аналогом РАН. — *Примеч. пер.*

<sup>29</sup> Комиссия, объединяющая представителей рабочих и администрации. — *Примеч. пер.*

и убеждений далёких настолько, насколько удалены друг от друга рабочие средней квалификации завода Renault и работники на временных контрактах CNRS, борьба против увеличения темпов работы и отказ от научных критериев. Необходимо также последовательно описать все случаи, когда политизация функционирует как компенсаторная стратегия, позволяющая уклониться от действия специфических законов университетского или научного рынка: например, все формы политической критики научных работ, позволяющие слабым с научной точки зрения производителям тешить себя и себе подобных иллюзией превосходства над тем, что превосходит их самих. Невозможно понять состояние исторического марксизма (состояние, которое схватывается в реальности его социального использования), не отдавая себе отчёта в том, что он со всеми ссылками на «народ» и «народное» выполняет функцию крайней меры, позволяющей наиболее обделённым с научной точки зрения вставать на позицию политических судей над судьями научными.

### *Эмпирические индивиды и индивиды эпистемические*

Если и существовала необходимость с помощью ретроспективной рефлексии над исследовательскими операциями и произведённым ими объектом выявить *использованные* принципы конструирования, то потому, что эта логическая работа в случае успеха может внести вклад в усиление логического и социологического контроля над письмом и его эффектами и придать большую действенность предостережениям против прочтений, стремящихся разрушить работу по конструированию. Ведь лишь при условии понимания, говоря словами Ф. де Соссюра, того, что делает социолог, можно адекватно прочесть продукт его операций.

Опасность неправильного понимания в процессе передачи научного дискурса о социальном мире происходит (в самом общем виде) из того, что читатель предрасположен использовать высказывания научно сконструированного языка так, как они функционируют в обыденном употреблении. Это хорошо видно в случае, когда не знающий веберовского различия читатель воспринимает в качестве ценностных суждений социолога *отнесения к ценностям*, встроенные в изучаемый им объект<sup>30</sup>. Когда, например, социолог говорит о «второстепенном факультете», «подчинённой дисциплине» или «нижних областях» университетского пространства, он лишь констатирует *факт оценки*, который пытается объяснить, соотнося его с совокупностью социальных условий его существования. Он может даже видеть в этом факте принцип, объясняющий форму призванных его «опровергнуть» *ценностных суждений* (например, протестов, которые он может вызвать в случае некорректного прочтения). Но это лишь второстепенная, поскольку грубая и в общих чертах заметная, форма непонимания. Наиболее опасный эффект прочтения, как можно заметить в случае имён собственных, заключается в подмене логики научного познания логикой познания обыденного.

Научный дискурс требует научного прочтения, способного воспроизвести операции, продуктом которых является он сам. Однако слова научного дискурса, и особенно те, что обозначают индивидов (имена собственные) или институции (Коллеж де Франс<sup>31</sup>), точно те же, что и слова обыденной речи,

<sup>30</sup> Незнание этого фундаментального различия Вебера встречается не только у непосвящённых. Об этом свидетельствует тот факт, что социологи могут упрекать анализ культурных практик в констатации *факта* меньшей легитимности или нелегитимности культурных практик подчинённых классов (критику этой ошибки см.: [Bourdieu, Chamboredon, Passeron 1968: 76].

<sup>31</sup> Коллеж де Франс (Collège de France) был основан в 1530 г. Франциском I и является престижной институцией в сфере высшего образования. Там читают публичные семинары и лекции, но, поскольку Коллеж не зачисляет студентов, не проводит экзамены и не выдаёт дипломы, он стоит в стороне от основной университетской системы. Назначение профессором в Коллеж де Франс является знаком высшего интеллектуального признания: в свое время там преподавали Раймон Арон, Эмиль Бенвенист, Ролан Барт, Фернан Бродель, Клод Леви-Стросс, Мишель Фуко и сам Пьер Бурдьё (с 1981 г.). — *Примеч. пер.*



романа или истории, тогда как их референты отделены от них благодаря процедурам научного разрыва и конструирования. Так, в повседневной жизни имя собственное производит простую *маркировку* и само по себе почти ничего не значит («Duront» не обозначает человека моста — *l'homme du pont*), не несёт почти никакой информации об обозначаемом индивиде (за исключением случаев, когда речь идёт о знатном или известном имени или имени, указывающем на определённую этническую принадлежность). Будучи ярлыком, который может произвольно прилагаться к любому объекту, имя собственное обозначает объект, не формулируя, *в чем* заключается его отличие от других объектов. В качестве инструмента распознавания, а не познания оно указывает на *эмпирического индивида*, который воспринимается в целом как особенный, то есть отличный от других, не анализируя при этом самого различия. В противоположность этому сконструированный индивид определяется конечным множеством явно заданных свойств, которое — через системы точно определённых различий — отличается от множества (сконструированного согласно тем же явным критериям) свойств, характеризующих других индивидов. Точнее, имя собственное в рамках научного конструирования находит свой референт не в пространстве повседневности, а в сконструированном пространстве различий, созданном самим определением конечного множества действующих переменных<sup>32</sup>. Так, «сконструированный» Леви-Стросс, о котором рассуждает и которого производит научный анализ, не имеет, строго говоря, тот же референт, что и имя собственное, используемое нами постоянно для обозначения автора «Печальных тропиков». В обыденном высказывании «Леви-Стросс» является означающим, к которому можно применить бесконечное множество предикатов, соответствующих различиям разного порядка и способных выделить французского этнолога не только среди других профессоров, но и среди всех других человеческих существ. И в каждом случае мы будем создавать эти различия, исходя из принципа имплицитной целесообразности, который нам навязывает присущая практике необходимость и срочность. Социологическое конструирование отличается от других возможных (например, психоаналитических) конструирований конечным списком принимаемых во внимание действующих свойств, переменных и бесконечным списком свойств, исключаемых в качестве нерелевантных (по крайней мере, временно). Можно сказать, что переменные вроде цвета глаз или волос, группы крови или роста заключаются в скобки, и всё происходит так, как если бы они не имели отношения к сконструированному Леви-Строссу. Однако, как хорошо видно на диаграмме анализа соответствий<sup>33</sup>, где он отличается позицией, занимаемой в сконструированном пространстве, эпистемический Леви-Стросс характеризуется системой различий, которые действуют с разной силой и по-разному связаны друг с другом, различий, устанавливаемых между конечным множеством его свойств, релевантных в рассматриваемом теоретическом мире, и совокупностью конечных множеств свойств, присущих другим сконструированным индивидам. Иными словами, Леви-Стросс определён через позицию, занимаемую им в пространстве, в конструирование которого внесли вклад его свойства (и которое также частично участвует в его определении). В отличие от доксихического Леви-Стросса, обладающего бесконечным количеством свойств, эпистемический индивид не содержит ничего, что не поддаётся концептуализации. Но эта прозрачность для самой себя процедуры конструирования является обратной стороной редукции, и прогресс теории как *точки зрения*, как принципа избирательного видения будет обусловлен изобретением категорий и операций, способных включить в теорию предварительно исключённые свойства (например, те, что мог бы сконструировать психоаналитик)<sup>34</sup>.

Пространственная диаграмма использует одно из свойств обыденного пространства — внешний характер выделенных объектов по отношению друг к другу, — чтобы воспроизвести логику собствен-

<sup>32</sup> Помимо классических дискуссий логиков об имени собственном и операторах индивидуации (Б. Рассел, П. Гардинер, У. В. О. Куайн, П. Ф. Стросон и др.) и размышлений Леви-Стросса в «Неприрученной мысли», эти проблемы рассмотрены в превосходном анализе Ж.-К. Париянта; см.: [Pariente 1973].

<sup>33</sup> Диаграмма дается в приложении 4 к данной книге. — *Примеч. ред.*

<sup>34</sup> Таким образом, можно противопоставить *агента*, определенного через конечное множество действующих в поле свойств, и предконструированного *индивида*.

но теоретического пространства дифференциации, то есть логическую эффективность совокупности принципов дифференциации (факторов анализа соответствий), позволяющих различать индивидов, которые были сконструированы благодаря статистическому анализу свойств, установленных через применение к различным эмпирическим индивидам общего определения, или общей точки зрения, конкретизированной в совокупности тождественных критериев<sup>35</sup>. И лучшей иллюстрацией того, что отличает эпистемического индивида от индивида эмпирического, является тот факт, что в определённый момент анализа можно наблюдать, как некоторые пары эмпирических индивидов (например, Раймон Полэн и Фредерик Деллофр) оказались слиты воедино. Обладая одинаковыми координатами по двум первым осям, они стали *неразличимыми* исходя из точки зрения (которая была тогда точкой зрения аналитика), встроеной в список выбранных на определённом этапе исследования переменных<sup>36</sup>.

Этот пример, выбранный мною сознательно, ставит вопрос об эффекте прочтения и опасности возвращения к обыденному познанию как простому узнаванию. Наивное прочтение диаграммы стремится устранить то, что составляет научное достоинство этой конструкции: в теоретическом пространстве различий, сконструированном на основе конечного — и относительно ограниченного — множества явно определённых переменных, подобное прочтение может «распознать» совокупность различий (поскольку это пространство представляет собой их действительное основание), данных эмпирически повседневному опыту, то есть тех, которые первоначально не были приняты во внимание при конструировании вроде различий в политических убеждениях, особенно в мае 1968 г., или — что стоило бы проверить — различий в стилях и работах. Таким образом, любой читатель, обладающий практическим чутьём на расстановку, приобретенным благодаря длительному воздействию закономерностей и правил мира, легко — слишком легко, если забыть условия конструирования, — узнает себя в эпистемическом пространстве, выстроенном с той строгостью и рефлексивной ясностью, которые полностью исключены из обыденного опыта. Это ощущение очевидности становится понятным, если учесть, что диаграмма, как и хорошо составленные карта или план, является моделью известной нам реальности, точнее, реальности, раскрывающейся для нас в повседневной жизни в (завуалированной) форме наблюдаемых, уважаемых, отрицаемых нарушением или снисхождением дистанций; в форме иерархий и превосходства, сходства и несовместимости (стиля, характера), симпатий и антипатий, согласия и враждебности. И на этом основании диаграмма может функционировать в качестве объективированной, *кодифицированной* формы практических схем восприятия и действия, которые направляют практики агентов, наиболее приспособленные к присущей их миру необходимости. По сути, демонстрируемое диаграммой многомерное пространство стремится быть изоморфным представлением университетского поля. Будучи адекватным отображением данного структурированного пространства, оно устанавливает между каждым из агентов и каждым из свойств двух пространств взаимно однозначное соответствие, в результате чего множество отношений между агентами и свойствами этих пространств представляют одну и ту же структуру. Эта выявляемая исследованием структура и есть подлинный принцип существования, по своей сути реляционный, и действий каждого из элементов (и особенно стратегий агентов), а потому — самого будущего элементов и определяющей их структуры отношений.

<sup>35</sup> О роли пространственно-временных отношений в идентификации индивидов см.: [Srawson 1959].

<sup>36</sup> Мы могли бы также вернуться к проблеме пояснения с помощью примеров: не приводит ли выбор Леви-Стросса в качестве примера для иллюстрации сконструированного класса «великих мэтров», определенного через позицию в некоторой области сконструированного пространства (выбор, способствующий или позволяющий читателю вновь ввести свойства эмпирического индивида), к разрушению самих результатов работы по конструированию? Однако ни выбор любого взятого наугад сконструированного индивида, ни, тем более, выбор индивида, обладающего наибольшим количеством типичных для сконструированного класса свойств, который представлял бы, несомненно, не самое плохое воплощение понятия «идеальный тип», не имели бы большего смысла.

Проделанный анализ помогает понять сложность любого научного дискурса о социальном мире; сложность, достигающую крайней степени в случае дискурса, имеющего непосредственное отношение к игре, в которую его автор вовлечён и имеет в ней ставки. Трудно, если вообще возможно, избежать того, чтобы высказывания, содержащие имена собственные или единичные примеры, не обретали полемического значения. Это происходит в силу того, что читатель почти неизбежно подменяет эпистемического субъекта и объект дискурса субъектом и объектом практическим, превращая нейтральное высказывание о сконструированном агенте в перформативное разоблачение эмпирического индивида или, как говорится, в полемику *ad hominem*<sup>37</sup>. Тот, кто пишет, занимает позицию в описываемом пространстве: он знает это, как и то, что это знает его читатель. Он знает, что читатель будет стремиться соотнести предлагаемое им — сконструированное — видение с его позицией в поле и свести его к одной из точек зрения, подобной другим. Он знает, что тот увидит в самых незначительных нюансах письма (в каком-нибудь «но», «может быть» или просто времени используемых глаголов) признаки предвзятости. Он знает, что все его усилия, затраченные на производство нейтрального и лишённого всех личных звучаний языка, рискуют оставить лишь впечатление серости, и считает это достаточно высокой ценой за то, что является, в конце концов, лишь некоторой формой автобиографии. И вполне вероятно, что стремление субъекта познания упразднить себя в качестве эмпирического субъекта, исчезнуть за анонимной записью своих действий и результатов заранее обречено на провал. Так, использование парафраза, который заменял бы имя собственное на перечень (частичный) релевантных свойств, кроме того что обеспечивает видимость анонимности, походит на один из классических приёмов университетской полемики, указывающей на противников лишь с помощью аллюзии, намёка или недомолвки, понятных исключительно посвящённым в тайны кода, то есть чаще всего только этим противникам. Таким образом, научная нейтрализация способна придать дискурсу ту дополнительную жестокость, которую обеспечивает сдержанной полемике академической вражды методическое устранение всех внешних признаков насилия. Коротко говоря, составленные из общих слов имена собственные («След в прерии», «Чёрная медведица», «Медвежий жир», «Виляющая хвостом рыба») (см.: [Levi-Strauss 1962: 229, 231; Pariente 1973: 71–79]) на практике не функционируют, что бы ни говорил по этому поводу Леви-Стросс, как акт классификации, приписывающий носителю имя собственное и его свойства, которые обозначены общими терминами, соединёнными в этом имени. Так же и парафраз «профессор этнологии, Коллеж де Франс», стремящийся указать на то, что таким образом обозначенный *агент* не является *индивидом* Клодом Леви-Строссом, имеет мало шансов (без ясного предупреждения) быть прочитанным иначе, чем эвфемистическая замена Клода Леви-Стросса. И, скорее всего, та же судьба ожидает понятия, созданные для обозначения областей теоретического пространства релевантных позиций или в отдельном случае классов индивидов, определённых через принадлежность к одинаковой области сконструированного (благодаря анализу соответствий) пространства. Либо в процессе чтения они оказываются в тени частично охватываемых ими институтов (Коллеж де Франс, Высшая школа социальных наук, Сорбонна и т. д.), либо функционируют как простые *ярлыки*, близкие к реалистичным и широко распространённым в повседневной жизни (особенно в спорах) предпонятиям, которые более или менее бездумно подхватывают авторы «типологий».

Среди прочего, строгое использование наиболее изощрённых техник анализа данных (например, анализа соответствий) предполагало бы совершенное знание лежащих в их основе математических принципов и производимых социологических эффектов, которые являются результатом их более или менее осознанного применения к социологическим данным. Не приходится сомневаться в том, что,

<sup>37</sup> Если бы я не боялся показаться занимающимся нарциссическим самолюбованием, то затронул бы вопрос о влиянии эпистемической точки зрения исследователя на его доксическую точку зрения. Или о практических проблемах, вызванных принадлежностью к эмпирическому пространству, которое стараются подвергнуть объективации: о чувстве предательства, о бесчестной уловке (видеть не будучи видимым), предполагающей и требующей исключения, о боязни открытого столкновения и о страхе телесного контакта «лицом к лицу» («на Зигфрида Леви натываются ежеминутно», — говорил Карл Краус) и т. д.

вопреки всем предостережениям «изобретателей», множество пользователей (и читателей) с трудом могут определить действительный эпистемологический статус понятий, разработанных для обозначения факторов или определяемых ими делений. Конечно, эти единства не являются чётко очерченными логическими классами, разделёнными строго проведёнными границами, все члены которых обладали бы *всеми* релевантными характеристиками, то есть конечным числом свойств, в равной степени необходимых для определения принадлежности к классу (таким образом, что обладание одними свойствами не может быть компенсировано обладанием другими). Множество собранных в одной области пространства агентов оказываются объединены тем, что Витгенштейн называет семейным сходством, то есть своего рода общим выражением лица, часто близким к тому, что в смутном и *неявном* виде постигается интуицией вовлечённых в это пространство агентов. И помогающие охарактеризовать эти множества свойства объединены сложной сетью статистических отношений, представляющих собой также отношения *интеллигибельного сходства* (в большей степени, чем логического подобия), которые аналитик должен, насколько это возможно, *сделать явными* и сжать в описание, одновременно стенографическое, мнемотехническое и убедительное.

Ещё одна трудность состоит в том, что выбор способа письма осложняется обыденным употреблением — особенно традицией, заключающейся в использовании «измов» в качестве эмблем или эвфемизированных оскорблений, то есть чаще всего в качестве имён собственных, обозначающих эмпирических индивидов или группы. Обозначение определённого класса с помощью понятия оказывается, таким образом, сведённым к акту *номинации*, подчиняясь обычной для такого рода операций логике. Дать имя — и имя уникальное — индивиду или группе индивидов значит принять по отношению к ним одну из возможных точек зрения и стремиться навязать её в качестве единственной и легитимной. Это видно в случае *прозвища*, которое в отличие от обычного имени собственного само по себе обладает значением и функционирует наподобие имени собственного у Леви-Стросса. Ставкой символической борьбы является монополия на легитимную номинацию, на господствующую точку зрения, которая, заставляя признать себя в качестве легитимной, скрывает свою истину частной перспективы, связанной с определённым местом и временем<sup>38</sup>. Таким образом, чтобы избежать возобновления полемики, стоило бы подумать об обозначении каждого из секторов пространства определённым набором понятий, способных напомнить о том, что каждая из областей пространства может быть рассмотрена и выражена по определению лишь в отношении к другим областям, а также о том, что на практике — и её необходимо включить в теорию — каждая из областей является объектом различных и даже антагонистических номинаций в зависимости от той точки в пространстве, исходя из которой она воспринимается. Назвать индивида или группу так, как они себя называют («император», «знать»), значит *признать* их, признать в качестве господствующих, согласиться с их точкой зрения и принять в их отношении точку зрения, полностью совпадающую с той, что они принимают в отношении самих себя. Однако им можно также дать иное имя — имя, данное им другими, и особенно их врагами, и отвергаемое ими как оскорбление или клевета («узурпатор»). Наконец, их можно назвать *официальным* именем, данным формальной и признанной легитимной инстанцией, то есть государством, обладателем монополии на легитимное символическое насилие (социoproфессиональные категории INSEE). В этом отдельном случае у социолога, являющегося одновременно судьёй и одной из сторон в процессе, мало шансов добиться признания за собой монополии на номинацию. В любом случае эти обозначения, скорее всего, тут же начнут функционировать в рамках обыденной логики, и когда речь зайдёт о нем самом или о его группе, читатель будет интерпретировать их как враждебные, чуждые и, следовательно, как оскорбительные. И напротив, он будет присваивать их и обращать в свою пользу, все так же используя в качестве оскорблений и средств полемической агрессии, когда они производят объективацию других — чужаков, находящихся вне группы (*out group*).

<sup>38</sup> Тем, кто считает этот анализ личной точкой зрения, я лишь напомнил бы о том месте, которое вполне логично занимают все стратегии, стремящиеся увеличить *влияние* или подорвать влияние других (клевета, очернение, похвала и критика в различных смыслах и т. д.), в мире, где основным капиталом является *капитал символический*.

Для того чтобы бороться против таких прочтений и препятствовать сведению инструментов обобщённой объективации к орудиям объективации частичной, необходимо постоянно выбирать (вопреки опасности для коммуникации, требующей простых и постоянных обозначений) методический парафраз, производящий полное перечисление релевантных свойств, либо использовать самые «синоптические» понятия, обладающие наибольшей способностью актуализировать систему отношений и описывать ее объективно, то есть с точки зрения внешнего наблюдателя<sup>39</sup>. Кроме того, следовало бы обратиться к эпистемической полиномии, способной адекватно выразить различные аспекты, в которых одно и то же множество свойств может быть определено через его *объективное* отношение к другим множествам, и к полиномии эмпирической (к разнообразию имён, действительно используемых для обозначения одних и тех же индивидов и групп, и тем самым к разнообразию аспектов, в которых индивид или группа предстаёт перед другими индивидами или группами), коя должна напомнить нам, что борьба за навязывание легитимной точки зрения является частью объективной реальности<sup>40</sup>.

Необходимо, мне кажется, обладать твёрдой позитивистской уверенностью для того, чтобы разглядеть в этих вопросах научного письма самодовольный пережиток «литературной» диспозиции. Забота о контроле над собственным дискурсом, иными словами — над его рецепцией, заставляет социолога использовать научную риторику, которая необязательно является риторикой научности: он должен навязать научное прочтение, а не веру в научность того, что читают, или навязать эту последнюю лишь в той мере, в какой вера в неё — часть непроговариваемых условий научного прочтения. Научный дискурс отличается от *вымысла* (например, от романа, признающего себя более или менее открыто дискурсом придуманным и условным) тем, что он, как отмечает Джон Сёрл, *имеет в виду* то, что говорит, принимает то, что говорит всерьёз, и согласен взять на себя за это ответственность, то есть в случае необходимости признать ошибку [Searle 1982: 101–119]<sup>41</sup>. Однако это отличие располагается не только на уровне иллокутивных интенций, как считает Сёрл. Рассмотрение всех черт дискурса, призванных обозначать доксическую модальность высказываний (убеждать в истине того, что говорится, или, напротив, напоминать о том, что речь идёт о видимости), несомненно, показало бы, что роман может прибегать к риторике истинности, а научный дискурс — к риторике научности, которая предназначена производить лишь фикцию науки, внешне соответствующую представлению поборников «нормальной науки», разделяемому ими в конкретный момент, о дискурсе, который социально признан ответственным за то, что утверждает.

Хотя истина и не обладает силой сама по себе, социально признанная научность является важной ставкой, поскольку существует сила веры в истину, веры, которая производится видимостью истины: в борьбе представлений, социально признанное в качестве научного (то есть истинного) представление, обладает собственной социальной силой, и в случае социального мира наука даёт её обладателю или тому, кто кажется таковым, монополию на легитимную точку зрения, на самоисполняющееся пророчество. Именно потому, что наука содержит возможность этой собственно социальной силы, она *неизбежно оспаривается*, когда речь заходит о социальном мире. Заключаящаяся в ней угроза насилия с необходимостью приводит к появлению стратегий защиты, особенно со стороны обладателей светской

<sup>39</sup> Может случиться так, что наиболее «синоптическое» понятие будет ассоциировано с эмпирической точкой зрения (как в понятии «мелкобуржуазный»). В таком случае необходимость установления различия между эпистемическим использованием и обыденным становится ещё более настоятельной.

<sup>40</sup> О полиномии, методически используемой в «Дон Кихоте» для выражения множественности возможных точек зрения на одну личность, см.: [Spitzer 1962].

<sup>41</sup> Сама история искусства и литературы, где каждая новая система конвенций делала явной истину предыдущей, то есть её произвольный характер, перекликается с работой романистов вроде Алена Роб-Грийе и Робера Пенже, особенно в «Апокрифе» («L'apocryphe»). Напоминая о том, что было фальшивого в договоре между романистом и читателем и особенно о сосуществовании явного вымысла и эффекта реальности, они учреждают вымысел в качестве вымысла, вплоть до объявления вымышленной той реальности, где этот вымысел в действительности создавался.

власти и тех, кто является их союзниками и занимает гомологичные позиции в поле культурного производства. Самая распространённая стратегия состоит в сведении эпистемической точки зрения, хотя бы частично свободной от социальных детерминаций, к точке зрения докисической путём её соотнесения с позицией исследователя в поле. Но те, кто осуществляет подобную редукцию, не замечают, что эта стратегия дисквалификации состоит в признании самого намерения, которое определяет социологию науки, а также не обращают внимание на то, что эта стратегия была бы оправданной лишь в том случае, если бы противопоставляла научному дискурсу более строгую науку о границах, связанных с условиями его производства<sup>42</sup>.

Важность социальных ставок, связанных в случае социальных наук с социальными эффектами научности, объясняет, почему риторика научности может играть здесь решающую роль. Любой дискурс о социальном мире, претендующий на научность, должен считаться с состоянием представлений, касающихся научности и норм, которые он должен практически соблюсти для того, чтобы произвести *эффект науки* и достичь тем самым символической эффективности и социальных прибылей, связанных с соответствием её внешним формам. Таким образом, этот дискурс обречён быть размещённым в пространстве возможных дискурсов о социальном мире и заимствовать часть своих свойств из объективного отношения, которое связывает его с этими дискурсами (особенно с их стилем) и в рамках которого определяется (в значительной степени независимо от воли и сознания авторов) его *социальная ценность*, его статус как науки, фикции или фикции науки. В живописи, как и в литературе, искусство, называемое реалистичным, это всегда лишь искусство, способное произвести эффект реальности, то есть эффект соответствия реальности, основанный на совпадении с социальными нормами, согласно которым в данный момент времени опознают то, что согласуется с реальностью. Сходным образом дискурс, называемый научным, может быть дискурсом, который производит эффект научности, основанный на, по меньшей мере, видимом соответствии нормам, по которым распознают науку. Именно в рамках этой логики так называемый научный или литературный стиль играет определяющую роль: подобно тому как в другую эпоху профессиональная философия в процессе учреждения себя утверждала свою претензию на строгость и глубину, особенно в случае Канта, через стиль, определённый через оппозицию к светской легковесности и фривольности (и, напротив, как хорошо показал Вольф Лепенис, Бюффон скомпрометировал свои претензии на научность излишним вниманием к изящному стилю), социологи, чья избыточная забота о хорошем языке могла бы поставить под угрозу их статус научных исследователей, могут более или менее сознательно стремиться к отличию, отвергая литературное изящество и воспроизводя внешние атрибуты научности (графики, статистические таблицы и даже математический формализм и т. д.).

Фактически позиции в пространстве стилей строго соответствуют позициям в поле университета. Так, например, поставленные перед альтернативой писать или слишком хорошо, что может обеспечить литературные прибыли, но поставит под угрозу эффект научности, или писать плохо, что может произвести эффект строгости и глубины (как в философии), но в ущерб светскому успеху, географы, историки и социологи выбирают стратегии, соответствующие (независимо от индивидуальных вариаций) их позициям. Занимающие центральную позицию в поле социальных и гуманитарных наук, а значит, ровно посередине между этими двумя системами требований, историки, присваивая обязательные атрибуты научности, оказываются, как правило, очень внимательными к своему письму. Географы и социологи обнаруживают больше безразличия в отношении литературных качеств, однако первые, обращаясь к нейтральному стилю, демонстрируют подобающую их позиции диспозицию смирения. В плане выражения этот стиль является эквивалентом эмпирицистского отречения, к которому географы, как

<sup>42</sup> Утверждение, что лишь научная критика может оспаривать научный труд, заставит защитников прав эссеизма кричать о терроризме. И социолога, таким образом, будут обвинять то в том, что он слишком слаб и его легко опровергнуть, то в том, что он слишком силен и неопровержим.

правило, приговаривают себя сами. Что же до социологов, то они часто выдают свои претензии на гегемонию (изначально вписанные в контовскую классификацию наук), заимствуя, одновременно или попеременно, наиболее влиятельные риторики из двух полей, с которыми вынуждены себя соотносить, то есть математическую риторику, часто используемую в качестве внешнего признака научности, и философскую, нередко сведённую к эффектам лексики<sup>43</sup>.

Знание социального пространства, где осуществляется научная практика, и универсума возможностей, стилистических или иных, по отношению к которым определяются ее выборы, ведёт не к отказу от научных амбиций и самой возможности познания и выражения того, что существует, а к усилению (через осознание и ту бдительность, которой оно благоприятствует) способности познавать реальность научно. На самом деле это знание приводит к вопросам гораздо более радикальным, чем все инструкции по безопасности и меры предосторожности, предписываемые методологией так называемой нормальной науке и позволяющие достичь ценой небольших усилий научной респектабельности: в науке, как и в других областях деятельности, серьёзность является типично социальной добродетелью. Отнюдь не случайно обладание ею приписывают в первую очередь тем, кто своим стилем жизни, как и стилем работ, гарантирует предсказуемость и просчитываемость, свойственные людям, которых полагают ответственными, солидными и остепенившимися. Так, например, основательность будет в первую очередь к лицу всем чиновникам от нормальной науки, устроившимся в ней, словно в официальной резиденции, и склонным принимать всерьёз лишь то, что заслуживает вдумчивого отношения (и прежде всего самих себя), то есть то, что подлежит учёту и на что можно рассчитывать. На социальный характер этих требований указывает тот факт, что они касаются исключительно внешних проявлений научной добродетели: разве наибольшие символические прибыли не достаются довольно часто тому типу фарисеев от науки, которые умеют украсить себя наиболее заметными знаками научности (например, подражая процедурам и языку более продвинутых наук)? Подчёркнутое соответствие формальным требованиям нормальной науки (критерии значимости, расчёт вероятности ошибки, библиографические ссылки и т. д.) и внешнее уважение необходимых, но недостаточных, минимальных предписаний — эти собственно социальные добродетели, в которых узнают себя сразу все обладатели социальной власти в области науки, — гарантируют руководителям больших научных бюрократий научную респектабельность, не имеющую ничего общего с их реальным вкладом в науку. Институциональная наука стремится установить в качестве модели научной деятельности рутинизированную практику, в которой решающие с научной точки зрения операции могут осуществляться без рефлексии и критического контроля, поскольку кажущаяся безупречность наблюдаемых процедур — к тому же часто поручаемых исполнителям — отклоняет любой вопрос, способный поставить под сомнение респектабельность учёного и его науки. Именно по этой причине, не будучи сциентистской формой притязаний на абсолютное знание, социальная наука, вооружённая научным знанием о своих социальных детерминациях, является наиболее сильным оружием против «нормальной науки» и позитивистской *самоуверенности*, которая представляет собой самое опасное социальное препятствие на пути прогресса науки.

<sup>43</sup> Это не значит, что собственно литературный поиск не может найти научного оправдания. Так, например, как отмечает Г. Бейтсон по поводу этнологии, выразительность стиля является одним из необходимых условий научного успеха, когда речь заходит об объективации релевантных характеристик определенной социальной конфигурации и о передаче принципов систематического восприятия исторической необходимости. Когда историк Средневековья с помощью языка воскрешает в памяти изоляцию и разорение крестьян, запертых на островках обработанной земли и оставленных на произвол всевозможных ужасов, он, прежде всего, стремится донести до читателя в словах и через слова, способные произвести эффект реальности, обновлённое видение, которое он должен передать, вопреки понятиям-экранам и автоматизму мышления, чтобы достичь верного понимания своеобразия каролингской культуры. То же самое можно было бы сказать и о социологе, который вынужден чередовать тяжеловесность понятийного аппарата, неотделимую от конструирования объекта, и поиски выражений, предназначенных воссоздать сконструированный и единый опыт определенного стиля жизни или способа мышления.

Маркс считал, что время от времени некоторым индивидам удавалось настолько освободиться от предписанных им в социальном пространстве позиций, что они обретали способность постичь это пространство в его целостности и передать своё видение тем, кто ещё оставался пленником структуры. В действительности же социолог может утверждать, что произведённое в рамках его исследования знание преодолевает общепринятые представления, не претендуя при этом на своего рода абсолютное видение, способное схватить тотальность исторической реальности. Выстроенное исходя из перспективы, отличной как от частичной и пристрастной точки зрения вовлечённых в игру агентов, так и от абсолютной точки зрения божественного наблюдателя, научное видение представляет собой наиболее систематическое обобщение, которого можно достичь при данном состоянии инструментов познания с помощью объективации (настолько полной, насколько это возможно) и исторической реальности, а также работы по обобщению. Тем самым социальная наука делает реальный шаг на пути, конечной точкой которого является *focus imaginarius* Канта, этот воображаемый первоисточник, позволяющий в основе своей выстроить законченную *систему*. Однако собственно научная интенция может мыслить его лишь как идеал (или регулятивную идею) практики, способной приблизиться к нему лишь при условии отказа от притязаний немедленно занять его место.

Таким образом, мы возвращаемся к исходному пункту — к работе над собой, которую должен осуществить исследователь, чтобы попытаться объективировать все, что связывает его с объектом исследования. Эту же работу должен заново проделать в отношении себя читатель для того, чтобы постичь социальные основания более или менее нездорового интереса, привнесённого им в чтение. Необходимо последовательно открыть все коробки, внутри коих оказываются заперты исследователь и большая часть читателей — тем более надёжно, чем менее они хотят знать об этом, — рискуя в противном случае универсализировать частную точку зрения и представить более или менее рационализированную форму бессознательного, связанного с позицией в социальном пространстве. Иными словами, необходимо обратиться к структуре поля власти и к тому отношению, которое с ним поддерживает поле университета в целом; проанализировать, насколько позволяют это сделать эмпирические данные, структуру университетского поля и позицию, занимаемую в нём различными факультетами. И наконец, необходимо исследовать структуру каждого факультета и позицию, занимаемую в нём различными дисциплинами. Мы сможем вновь вернуться (см. главу 3), хотя и в сильно изменённой форме, к главному вопросу нашего исследования об основаниях и формах власти в поле гуманитарных факультетов в преддверии 1968 г. лишь тогда, когда более точно определим (см. главу 2) позицию первоначального объекта во взаимосвязанных социальных пространствах, а вместе с тем и позицию самого исследователя, являющегося их частью, и соответствующие ей проницательность и слепоту. Сделав набросок университетского поля в целом и структуры поля социальных и гуманитарных наук, которые в силу их центральной позиции в пространстве университета и из-за самого разделения на гуманитарные и социальные науки позволяют с особенной ясностью увидеть напряжения, порождённые усилением естественных наук и учёных-естественников (напряжения, присущие всему полю университета в целом и каждому факультету в отдельности), мы далее сможем задать истории релевантные вопросы и попытаться вновь ухватить детерминанты и логику трансформаций, в чьих пределах наблюдаемое состояние структуры представляет лишь один из моментов. Рост числа студентов и сопутствующее ему увеличение числа преподавателей глубоко изменили расклад сил внутри поля университета и каждого факультета, особенно отношения между должностями и дисциплинами, которые сами были в неравной степени затронуты трансформациями иерархических отношений. Это происходило вопреки всем объективно направляемым (но не согласованным преднамеренно) действиям, с помощью оных профессора пытались обеспечить защиту своего корпуса (см. главу 4). Морфологические изменения выполняют в данном случае (так же как и в поле литературы) роль посредника: через них история, чьё влияние механизмы воспроизводства стремятся исключить, вторгается в поля — *открытые* пространства, вынужденные черпать извне необходимые для их функционирования ресурсы и в силу этого рискующие



стать местом столкновения независимых каузальных серий, которое и производит событие, то есть историю *par excellence*<sup>44</sup> (см. главу 5).

Данная попытка наметить структурную историю недавней эволюции системы образования ставит проблему письма, касающуюся использования времён в языке, и тем самым эпистемологического статуса дискурса. Нужно ли во имя относительной специфичности документов и использованных анкет, их чётко заявленных ограничений в социальном пространстве и времени отказываться от придания дискурсу того общего характера, который выражается трансисторическим настоящим научного высказывания? Это было бы равносильно отказу от самого проекта любого интеллектуального предприятия, стремящегося «погрузиться» в историческую единичность для того, чтобы извлечь из неё трансисторические инварианты (оставляя привилегию вневременных обобщений эссеистам или компиляторам, не обременённым никаким иным историческим референтом, кроме прочтённых книг и личного опыта). В отличие от «времён плана речи» (часто это настоящее время), предполагающих, согласно Бенвенисту, «говорящего и слушающего, и намерение первого определённым образом воздействовать на второго», и, совсем как аорист<sup>45</sup>, «историческое время в собственном смысле слова», которое, опять же согласно Бенвенисту, объективирует «событие, отделяя его от настоящего» и «исключает какую бы то ни было автобиографическую языковую форму» [Benveniste 1966: 239, 242, 245, 249]<sup>46</sup>, всевременное (*omnitemporal*) настоящее научного дискурса обозначает объективирующую дистанцию, не отсылая к прошлому, связанному с определённым местом и временем. На этом основании оно подходит для научного отчёта, представляющего *структурные инварианты*, которые могут наблюдаться в качестве таковых в различных исторических контекстах и функционировать в том же мире как ещё действующие *константы*. Между прочим, именно это присутствие в настоящем (понятом как то, что находится на кону) делает социологию наукой для рассказывания историй (или, как говорят англичане, дискуссионной (*controversial*), то есть предполагающей диспут, диалог), и тем более, чем в большей степени она развита: очевидно, что нам легче признать за историком объективность и нейтральность учёного, поскольку, как правило, мы безразличны к тем темам, играм и ставкам, которые он затрагивает. При этом следует помнить, что хронологическая дистанция по отношению к настоящему не является хорошей мерой исторической дистанции, то есть дистанции, превращающей факт или событие в историю, в историческое прошлое. Нельзя забывать о том, что принадлежность к настоящему как *актуальности*, то есть к миру агентов, объектов, событий и идей, которые хронологически могут принадлежать прошлому или настоящему, но на деле — *участвовать в игре* (следовательно, практически *актуализирующихся* в рассматриваемый промежуток времени), определяет разрыв между ещё «живым», «обжигающим» настоящим и «мёртвым, похороненным» прошлым, как и те социальные миры, для которых это прошлое было ещё в игре, актуально, актуализировано, было действующим и претерпевающим воздействие.

Таким образом, настоящее время, по-видимому, настоятельно необходимо для описания всех механизмов или процессов, которые вопреки поверхностным изменениям (особенно касающимся словаря: «президент» вместо «декан», «UER<sup>47</sup>» вместо «факультет» и т. д.) все ещё являются частью исторического настоящего, так как продолжают осуществлять своё воздействие. Рассматривая предельный случай, мы, несомненно, можем, обсуждая дорогой Фоме Аквинскому принцип разьяснения, употреблять

<sup>44</sup> Преимущественно (*франц.*). — *Примеч. пер.*

<sup>45</sup> Аорист — временная форма глагола, выражающая законченное действие, совершенное в прошлом (простое, или нарративное прошедшее). Использовался во многих древних языках; в том числе широко употреблялся в церковнославянском, но в деловом и разговорном языке стал выходить из употребления уже в XII веке, замещаясь простым прошедшим с глаголом совершенного вида. — *Примеч. пер.*

<sup>46</sup> Цит. по: Бенвенист Э. 1974. *Общая лингвистика*. М.: Прогресс; 272, 276.

<sup>47</sup> UER (Unités d'enseignement et de recherche) — учебно-исследовательское подразделение. После университетской реформы 1969 г. университеты, которые были огромными агломерациями немногочисленных сильных факультетов, реорганизуются путём создания незначительного числа небольших полуавтономных подразделений. — *Примеч. пер.*

настоящее время так же долго, как долго в неподвижном времени университетской жизни диссертации и все другие формы дискурса будут организовываться согласно триадическим делениям и подразделениям схоластической мысли. Даже аисторичная модель в высшей степени исторического события, кризиса как синхронизации различных социальных времён может быть описана во всевременном настоящем в качестве единственного в своём роде завершения серии всевременных эффектов, наложение которых производит исторический момент.

Настоящее время также подходит для описания всего того, что, будучи верным во время исследования, остаётся таковым на момент чтения или того, что может быть понято, исходя из закономерностей и механизмов, установленных на основе исследования. Соответственно, разрыв примерно в 20 лет между моментом исследования и моментом публикации даст возможность каждому проверить (с учётом изменений, произошедших в этом промежутке времени, и того, что они предвещают), позволяет ли предложенная модель, и в частности — анализ трансформаций силовых отношений между дисциплинами и между должностями, объяснить проявившиеся после исследования феномены, которые труднее ухватить систематическим образом и которые здесь лишь упоминаются. Я думаю о появлении новых видов власти, особенно профсоюзов, которые стремятся довести до последних пределов процесс, запущенный изменением способа рекрутирования ассистентов и старших преподавателей, давая тем, кто был нанят в результате изменения способа рекрутирования, возможность контролировать набор младшего преподавательского состава, что может приводить в определённых случаях к фактическому исчезновению категорий отбора, использовавшихся при прежнем способе рекрутирования, нормальнцев или агреже<sup>48</sup>. И разве можно не заметить, что противоречие между новым способом рекрутирования и прежним способом карьерного продвижения (тот, кто был нанят по-старому, защищён прошлым, которое он, в свою очередь, стремится сохранить, и предрасположен блокировать на подчинённых позициях тех, кто был рекрутирован по-новому) лежит в основании множества попыток оказать давление, протестов и институциональных трансформаций, стремящихся, особенно под эгидой политических изменений, упразднить различия, связанные с первоначальными несходством школьной и университетской траектории (отменяя дистанцию либо между должностями, либо между званиями, дающими к ним доступ)?

Наконец, следовало бы собрать разные предостережения против искажающего прочтения, которые содержит этот анализ, и в то же время уточнить их настолько, чтобы они превратились в ответы *ad hoc*, то есть в большинстве случаев в аргументы *ad personam*<sup>49</sup>: на самом деле есть все основания полагать, что прочтение научной реконструкции вариаций и инвариантов будет меняться, как и опыт реальной истории, сообразно отношению читателя к прошлому и настоящему университетской институции. Постигание в данном случае затрудняется лишь тем, что в каком-то смысле нам всё очевидно и мы *не желаем* ни видеть, ни знать того, что понимаем. Самое лёгкое может быть также и самым трудным, поскольку, как говорил где-то Витгенштейн, необходимо преодолеть затруднение не интеллекта, а воли. И социология, которая благодаря своему положению лучше прочих наук подходит для того, чтобы определить границы «внутренней силы истинной идеи», знает, что противопоставленная истине сила сопротивления будет очень точно соответствовать тем затруднениям воли, которые она могла бы преодолеть.

<sup>48</sup> Понятно, что переопределение подчинённых должностей и связанных с ними педагогических интересов нужно рассматривать в контексте не только трансформаций социальных и образовательных характеристик преподавателей, но и условий занятия ремеслом, на которые повлияли изменения социального качества и количества студенческой публики. Таким образом, описание должности и отношения к ней (вроде того, что будет предложено ниже), неизбежно берущее в качестве критерия для сравнения и понимания прежнее состояние системы, стремится подчеркнуть признаки расхождения и описывать негативным образом практики и интересы, порождённые новым спросом.

<sup>49</sup> Персонально (*лат.*). — *Примеч. пер.*

## Литература

- Benveniste E. 1966. *Problèmes de linguistique générale*. Paris: Gallimard; см. также рус. пер.: Бенвенист Э. 1974. *Общая лингвистика*. М.: Прогресс.
- Boudon R. 1981. L'intellectuel et ses publics: les singularités française. In: Reynaud J.-D., Grafmeyer Y. (ed.) *Français qui êtes-vous?* Paris: la Documentation française; 465–480.
- Bourdieu P. 1971. Le marché des biens symbolique. *L'Année sociologique*, 22: 49–126; см. также рус. пер.: Бурдьё П. Рынок символической продукции. Пер. с франц. Е. Д. Вознесенской. *Вопросы социологии*. 1993. № 1–2: 49–62; 1994. № 5.
- Bourdieu P., Chamboredon J.-C., Passeron J.-C. 1968. *Le métier de sociologue*. Paris: Mouton.
- Bouveresse J. 1976. *Le mythe de l'intériorité*. Paris: Editions de Minuit.
- Bouvresse J. 1984. *Le philosophe chez les autophages*. Paris: Editions de Minuit.
- Clark B. 1963. Faculty Culture. In: Tyler R. W., Lunsford T.F. (eds) *The Study of Campus Culture*. Boulder, CO: Western Interstate Commission for Higher Education; 39–54.
- Clark B. 1963. Faculty Organization and Authority. In: Lunsford T. F. (ed.) *The Study of Academic Administration*. Boulder, CO: Western Interstate Commission for Higher Education; 37–51.
- Couteau-Begarie H. 1983. *La phénomène nouvelle histoire*. Paris: Economica.
- Gillispie C. C. 1980. *Science and Policy in France at the End of the Old Regime*. Princeton: Princeton University Press.
- Gouldner A. W. 1957. Cosmopolitan and Locals: toward an Analysis of Latent Social Rules. *Administrative Science Quarterly*. 2 (Decembre): 281–307.
- Gustad W. J. 1966. Community Consensus and Conflict. *The Educational Record*. 47: 439–451.
- Levi-Strauss C. 1962. *La pensée sauvage*. Paris: Plon.
- Pariente J.-C. 1973. *Le langage et l'individuel*. Paris: A. Colin.
- Schorske C. E. 1980. *Fin-De-Siècle Vienna: Politics and Culture*. New York: Alfred A. Knopf.
- Searle J.-R. 1982. *Sens et expression. Etudes de théorie des actes de langage*. Paris: Editions de Minuit.
- Spitzer L. 1962. Linguistic Perspectivism in the Don Quijote. In: Spitzer L. *Linguistic and Literary History. Essays in Stylistics*. New York: Russell and Russell; 42–85.
- Srawson P. F. 1959. *Les individus*. Paris: Seuil; 1–64.
- Wittgenstein L. 1964. *Philosophische Bemerkungen*. Oxford: B. Blackwell.

## NEW TRANSLATIONS

Pierre Bourdieu

# Homo Academicus

**BOURDIEU, Pierre**  
(1930–2002) —  
outstanding French  
sociologist.

### Abstract

In this book, Bourdieu explains how the academic world is constituted. Seeking foundations and forms of power in the humanitarian field, he analyzes the evolution experienced by the higher education system in France leading up to 1968. Bourdieu maps the university field and discusses how it relates to the structure of the power field in general. He also analyzes the structure of the university field and positions that different departments take within it, and he scrutinizes the structure of each department and positions that different scientific fields take within it. Additionally, he is interested in how social hierarchies and academic careers of scholars—from Foucault, Derrida, and Lacan, to figures who are lesser known—are made. In his mapping of the university world, Bourdieu applies constructivist and structuralist approaches.

The Journal of Economic Sociology publishes the first chapter “A Book for Burning?” where Bourdieu discusses the methodological foundations of his research, reflecting on opportunities and restrictions for a sociologist that he meets when studying the social world to which he belongs. Bourdieu looks to solve the epistemic issues that a sociologist encounters in the sphere of his responsible work on constructing the object and subject.

**Keywords:** reflexive sociology; higher education; university world; intellectual culture; social hierarchy; power and knowledge.

### References

- Benveniste E. (1966) *Problèmes de linguistique générale* [Problems of General Linguistics], Paris: Gallimard (in French).
- Boudon R. (1981) *L'intellectuel et ses publics: les singularités française* [The Intellectual and His People: French Singularities]. *Français qui êtes-vous?* [French, Who are You?] (ed. J.-D. Reynaud, Y. Grafmeyer), Paris: la Documentation française, pp. 465–480 (in French).
- Bourdieu P. (1971) *Le marché des biens symbolique* [The Market for Symbolic Goods]. *L'Année sociologique*, vol. 22, pp. 49–126 (in French).
- Bourdieu P., Chamboredon J.-C., Passeron J.-C. (1968) *Le métier de sociologue* [The Craft of Sociology], Paris: Mouton (in French).
- Bouveresse J. (1976) *Le mythe de l'intériorité* [The Myth of Interiority], Paris: Editions de Minuit (in French).
- Bouveresse J. (1984) *Le philosophe chez les autophages* [The Philosopher in Autophages]. Paris: Editions de Minuit (in French).

- Clark B. (1963) Faculty Culture. *The Study of Campus Culture* (eds. R. W. Tyler, T. F. Lunsford), Boulder, CO: Western Interstate Commission for Higher Education, pp. 39–54.
- Clark B. (1963) Faculty Organization and Authority. *The Study of Academic Administration* (ed. T. F. Lunsford). Boulder, CO: Western Interstate Commission for Higher Education, pp. 37–51.
- Couteau-Begarie H. (1983) *La phénomène nouvelle histoire* [The Phenomenon of New History], Paris: Economica (in French).
- Gillispie C. C. (1980) *Science and Policy in France at the End of the Old Regime*, Princeton: Princeton University Press.
- Gouldner A. W. (1957) Cosmopolitan and Locals: Toward an Analysis of Latent Social Rules. *Administrative Science Quarterly*, vol. 2, Decembre, pp. 281–307.
- Gustad W. J. (1966) Community Consensus and Conflict. *The Educational Record*, no 47, pp. 439–451.
- Levi-Strauss C. (1962) *La pensée sauvage* [The Savage Mind], Paris: Plon (in French).
- Pariente J.-C. (1973) *Le langage et l'individuel* [Language and the Individual], Paris: A. Colin (in French).
- Schorske C. E. (1980) *Fin-De-Siècle Vienna: Politics and Culture*. New York: Alfred A. Knopf.
- Searle J.-R. (1982) *Sens et expression. Etudes de théorie des actes de langage* [Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts], Paris: Editions. de Minuit.
- Spitzer L. (1962) Linguistic Perspectivism in the Don Quijote. *Linguistic and Literary History*. New York: Russell and Russell, pp. 42–85
- Srawson P. F. (1959) *Les individus* [Individuals], Paris: Seuil, pp. 1–64 (in French).
- Wittgenstein L. (1964) *Philosophische Bemerkungen*, Oxford: B. Blackwell.

**Received:** September 2, 2017.

**Citation:** Bourdieu P. (2017) Homo Academicus [Homo Academicus]. *Ekonomicheskaya sotsiologiya = Journal of Economic Sociology*, vol. 18, no 4, pp. 91–119. doi: 10.17323/1726-3247-2017-4-91-119 (in Russian).